АЛЛА ГЕРБЕР

МАМА И ПАПА

SHOUT
SHARE
IT

- Мама и папа
  -
  - ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
  - КАК ТВОЯ ФАМИЛИЯ?
  - МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
  - КОГДА МЫ УХОДИМ — КУДА МЫ УХОДИМ?
  - ДВЕ КОПЕЙКИ НА ЛЮБОВЬ
  - ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
  - В СТЕНАХ И ЗА СТЕНАМИ

Мама и папа

Книга о том, что никогда нельзя забывать и чаще надо вспоминать. Автор-известная писательница и общественный деятель, считает, что книга может принести пользу тем, кто запутался в наших темных временах.

Алла Гербер

А зачем выдумывать?
Зачем герои?
Зачем роман, повесть с завязкой и развязкой?
Вечная боязнь
показаться недостаточно книжным,
недостаточно похожим на тех,
что прославлены!
И вечная мука - вечно молчать,
не говорить как раз о том,
что истинно твое
и единственно настоящее,
требующее наиболее законно
выражения, то есть следа,
воплощения и сохранения
хотя бы в слове.

И. Бунин

ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ

Как же нам хочется остаться одним! Как ждем того часа, когда они уйдут и можно будет пригласить гостей! Как ждем того дня, когда без них можно будет делать что угодно... "Свободная хата", "мутер с фатером отвалили", "предки слиняли", "мамы с папой дома нет"... Проходят годы, и ничего не остается в памяти от той долгожданной свободы. Ничего, кроме запаха пыли, подгнивших продуктов в помойном ведре, черных подтеков на паркете, окурков под диваном, осколков маминой любимой тарелки, пробоин в книжном шкафу и винных пятен на зеленом сукне письменного стола... Вот и все, что удержала память от тех долгожданных вечеров, когда мамы с папой не было дома...

А запомнилось совсем другое — то, что было на самом деле ДОМОМ, нашим общим домом, который вижу, слышу, чувствую по сей день.

Написала — "вижу", но тут же подумала, что прежде всего, конечно, слышу. Дом начинался с музыки.

Мама так и не закончила консерваторию, а папа так и не стал певцом, хотя, как утверждали специалисты, у него был редкостного тембра баритон.

Сбившись на государственных экзаменах (она играла "Лунную сонату" Бетховена), мама убежала со сцены и больше

никогда не вернулась. Это была ее непреходящая боль, которая мучила всю жизнь, но преодолеть пережитый страх она не могла, уговаривая себя, что никогда не была особенно способной, просто музыкальной, так что человечество ничего не потеряло. Человечество — конечно же нет, но она навсегда утратила саму возможность играть — рояль и манил и пугал ее одновременно. Музыка осталась ее неразделенной любовью, которой она открывалась только на концертах в консерватории. Вот там, уже не сдерживаясь, не скрываясь, она отдавалась своей любви. И всегда это был юношеский восторг, как бы впервые открытое переживание, первый удар любви, первое от нее потрясение. После концерта она спешила домой, чтобы не расплескать услышанное, тут же, самой, воспроизвести... Но старый "Бехштейн" держал ее на расстоянии, так и не простив давнего предательства.

В сорок девятом, после ареста отца, в дом пришла нужда. Надо было что-то продать, но продавать особенно было нечего, мама запеленала онемевший с того дня инструмент, и его унесли пропахшие вином люди. Стыдно писать, но я сочла это предательством — сама не играя, она всегда аккомпанировала отцу, когда он пел. Я тогда не понимала, что, для того чтобы сохранить дом, она отдавала самое дорогое — их общую мечту, их пожизненную страсть.

* * *

Деда со стороны отца я не помню. Рассказывают, что он был ортодоксальным и деспотичным. С юности работал как вол — в прямом смысле слова, ибо сначала батрачил на чужой земле, а потом арендовал ее у разорившегося помещика, но возделывал, что называется, своими руками. А потом и мельницу построил. Папа не без гордости рассказывал, что он, как, впрочем, и три других его брата, действительно пахал землю с четырнадцати лет, совсем как те книжные герои, которые, поучая своих детей, любят повторять: "Я в твои годы землю пахал..." Отец не очень-то поучал, но считал, что работать с детства — норма. "Учиться, — говорил он, — тоже работа". Он терпеть не мог безделья, просто физически уставал от ничегонеделания. Я не помню его отдыхающим, разве что дважды за всю жизнь ездил лечиться в санаторий, но, судя по письмам, места себе там не находил и считал минуты до возвращения домой.

Но больше всего он любил петь. Стать актером ему не позволил собственный отец. Гиганту с большими тяжелыми руками, который никогда не поднимался позже шести, профессия актера представлялась несерьезной, недостойной здорового мужчины. Дед считал своим долгом дать сыновьям образование,

чтобы они были "приличными, уважаемыми в обществе людьми". А петь. "Петь, — уверял дед, — можно дома, петь — это не работа..." Когда отец пел, дед плакал и благодарил Бога, что у него такой одаренный сын. Но... обещал проклясть сына, если тот вздумает поступать в консерваторию. Отец не посмел ослушаться — он стал инженером, как того хотел дед, и никогда ни одним словом не попрекнул ни его, ни свою работу. Но знаю — страдал всю жизнь, хоть и повторял, что раз на то была воля отца, значит, так оно и должно было быть.

Была, конечно, какая-то правда и за той, дедовской, правдой — в то время, когда его сыновья уходили в люди, нужно было вооружить их конкретным делом, надежной, на все случаи, профессией. "Еще большой вопрос, — говорил дед отцу, — что тебя, сына мельника Хаима из Березовки, возьмут в актеры, а в инженеры возьмут... Техника, если, конечно, иметь голову на плечах, не подведет. Техника, юриспруденция, медицина и экономика..."

Вот так мельник Хаим распределил четыре перспективные профессии между своими четырьмя перспективными сыновьями. Отцу досталась инженерия. Он никогда не занимал больших постов, был, что называется, типичным производственником. Сказать, что горел на работе, тоже нельзя, потому что это было его естественное состояние во всем: работать так работать, гулять так гулять. Но из всех подарков, грамот, благодарностей "за честный труд" он, по-моему, больше всего ценил письма деда, который до самой смерти аккуратными печатными буквами выписывал на конверте — "Инженеру Герберу". Но я, по-видимому, унаследовала дедовский максимализм и не могла ему простить, что папа не стал певцом. Я слышу, как будто не вчера, не когда-то, а сейчас, в эти минуты, когда пишу эти строки: "Постой, выпьем, ей-богу, еще..." И вижу ту заснувшую реку, по которой "с тихой песней проплыли домой рыбаки..." И тот цыганский табор, с которым ушла неверная Земфира, и того цыганского барона, который был влюблен... И ту неведомую Бетси, за которую пили полные бокалы, и "...легко на сердце стало, забот как не бывало..."

"О, если б навеки так было..." Если бы можно было вернуть те минуты, когда мама брала ноты и, волнуясь как школьница на экзаменах, садилась на краешек стула, опускала свои мягкие длинные пальцы на клавиши "Бехштейна" и, глубоко вздохнув, начинала... "Что наша жизнь? Игра", — без надрыва, на улыбке пел папа, словно не веря герою, что жизнь — и впрямь игра, не предполагая, как далеко игры в жизни могут завести людей и как надолго они уведут его от нас.

Голос спас отца от смерти. Метр девяносто роста и сорок пять килограммов веса — какие уж тут песни! А он пел таким же измученным людям, как он сам — "Когда ж домой товарищ мой вернется... любимый город другу улыбнется..." И вернулся, но петь не мог — голос пропал, и я никогда не смогу его услышать: в моем детстве не было магнитофонов. Но и сейчас засыпаю под те колыбельные, которые, сдерживая силу своего могучего голоса, напевал мне он. И теперь в бессонные ночи я сама себе напеваю: "Полюшко-поле, полюшко — широко поле... едут да по полю герои, эх, да Красной Армии герои..." И всякий раз плачу, потому что папа пел эту походную отрядную песню печально, задумчиво, как будто представлял себе тех героев, которые полегли на том полюшке-поле, заснули на нем вечным сном...

Мой маленький сын вырос под его любимую, которую пела ему потом я: "Спят медведи и слоны, дяди спят и тети, все вокруг спать должны, но... не на работе". Смешно, но, может, эта моя настойчивая, из вечера в вечер просьба "не спать на работе" вызвала у сына чисто детский протест, потому что и по сей день он, бедняжка, любит спать как раз в то время, когда по расписанию положено работать...

Звуки дома... Половицы не скрипели, ставни не стучали, мыши не скреблись... Но были другие звуки, которые тоже — дом. У каждого они свои. Приглушенные ночные голоса в соседней комнате, когда считалось, что я сплю и не слышу, ЧТО они говорят. В этих ночных разговорах я угадывала тревогу, которая проходила или скрывалась днем. Слышала слова, которые они доверяли только ночи. В них была растерянность, страх перед самой войной, так, уже совсем приглушенной, тревога вселилась в дом в конце сороковых... Но наутро все забывалось — утренние звуки были веселые звуки. И возникал тот самый мышиный шорох и скрип половиц, под которые медленно и чинно сходили со страниц капитаны, и каждый был отважный, каждый знаменит... По утрам тот, кто был "поленом", становился "мальчишкой, замечательным парнишкой...", а заколдованный злой Звездный мальчик превращался в конце концов в доброго... По утрам черная тарелка репродуктора призывала закаляться, шагать левой и правой, улетать вместе с героями-пилотами в океан голубой высоты. И та же тарелка сотрясалась от разрывающих ее первых взрывов войны, от всенародного стона-плача — вставать на смертный бой! Ночью в своей комнате я чувствовала себя выброшенной на необитаемый, залитый лунным белым светом остров. Почему-то казалось, что комната совсем пустая — только я, спрятанная за белой сеткой кровати, и репродуктор, ставший вдруг похожим на громадную черную медузу. Я плакала от страха

и с ужасом ждала, когда тарелка ударит приказом-сводкой, завоет воздушной тревогой.

Еще недавно — "Дай, Джим, на счастье лапу мне..." Еще вчера — "Здравствуй, Нетте, как я рад, что ты живой..." И не думалось, не понималось, что быть живым — чудо. Пришло время, когда нормой становилась не жизнь, а смерть, и звуки, которые были жизнью дома, надолго покинули его.

Война унесла старые письма и записки "в несколько строчек", потушила костер, который до утра "светил в тумане" на воскресных дачных до глубокой ночи с уймой гостей посиделках, и обратила в сказку, в еще не открытую планету из другой галактики и раньше загадочные Сочи, где все дни и ночи... Замолчал наш скрипучий патефон, и только после войны его раскрутил пришелец из другой жизни — таинственный лиловый негр, который подавал прекрасной незнакомке нечто совсем странное, на телогрейку мало похожее, но, судя по всему, ее заменяющее, под названием — манто. И пошли-поплыли звуки из "бананово-лимонного Сингапура", из синего и далекого океана, из подлунного мира, где болеет музыка, а на прощальный ужин приглашают... тишину.

Но сколько иных звуков, иных песен вошло в мою жизнь, прежде чем черная медуза превратилась в радиоприемник, вернувший нам школьные вальсы, часы свиданий, ожиданий, упоительных мирных разлук. Прошло совсем немного лет, и дом снова затих, застонал по ночам от подлинной, а не эстрадной тоски, замер в ожидании писем, и не сокращались большие расстояния (поверьте, нет) от того, что где-то далеко отец пел про любимый город, который спал спокойно, но не было покоя в нашем сне. И снова ожил, зашумел, скинув годы, дом, когда отец вернулся, а вместе с ним — серебристый звон балетно изогнутых, дымчато-миражных, как стая лебедей в "Лебедином озере", хрустальных бабушкиных бокалов.

* * *

ДОМ — это не только звуки, но и вещи, одухотворенные людьми. Вещи, которые впитали в себя суть и дух тех, кто держал их в руках, кто на них смотрел, кто их хранил и любил. Вещь, которая обогащает душу, но при этом не нарушает честную пустоту кармана, — это тоже дом, в котором мы жили.

Немцы были уже совсем рядом, под Москвой, тянуть с отъездом больше было нельзя — отец настаивал, чтобы мы с мамой немедленно эвакуировались (сам же оставался с заводом). Времени на сборы не было, мама набила в чемодан все, что оказалось под рукой, а в корзину, еще совсем недавно привезенную из Киева с клубникой, уложила, как грудного,

закутанного для гулянья ребенка, реликвию дома, всеобщую любимицу, тяжелую от рождения, но с годами точно еще более отяжелевшую вазу-лодку, подаренную еще моей прабабушкой на мамину свадьбу. Товарищ отца, который пришел за нами (папа смог приехать только на вокзал), посмотрел на маму, мягко говоря, с недоумением. "Это наш дом, — сказала мама. — Пока она с нами — мы дома".

В Ташкенте, где мы прожили два года, мама устроилась на завод разнорабочей, таскала мешки с опилками, чтобы получать рабочую карточку. Бабушка делала из патоки конфеты-подушечки, и мы продавали их на Алайском базаре. В школе, по болезни, мне давали дополнительную порцию жмыховой каши (я уже давно из довоенного "жиртреста" превратилась в "Алку-палку"). Все, что можно было продать, мы продали. Все — это два маминых отреза, подаренных папой ко дню ее рождения, два ярких, цветастых крепдешиновых полотнища, о которых мама, не избалованная красивыми вещами, давно мечтала и чисто по-женски, не взяв самого необходимого — например, теплого пальто, — их все-таки в последнюю минуту засунула в ту же "клубничную" корзину. И еще — мои лакированные туфельки, предмет зависти всего нашего двора, присланные какой-то мифической троюродной тетей Надей — манекенщицей из Парижа. Но вазу мама не тронула. Когда я заболела малярией, мама по совместительству устроилась ночным вахтером. Но ваза стояла. Помню день, когда она совсем было решилась нести ее на барахолку. Тщательно закутала, как тогда, в день отъезда из Москвы, с нежностью уложила в ту же корзину, а потом решительно собралась куда-то, оставив вазу на своем месте. Она пошла к дальнему родственнику — занять деньги, чего не делала никогда.

Есть люди, которым легко брать в долг, — папа, например, одалживал весело. С его размахом жить, тратить, угощать ему вечно ни на что не хватало. Это был их постоянный спор с мамой, доходящий до серьезных конфликтов (после смерти папы мы еще долго отдавали его "веселые" долги, которые брались для наших общих радостей).

Мама тоже, как сейчас говорят, "не умела жить", но и занимать не умела. Она не считала, не экономила копейки — жили как жили, а когда не на что было жить — тоже почему-то жили. Помню (папы уже не было в живых), к нам зашел мой друг — журналист из Польши, аккредитованный от своей газеты на три года в Москву. Он готовился к приезду жены и пришел к маме поговорить на хозяйственные темы — хозяйкой дома была она.

"Фанья Яковлевна, — вкрадчиво, осторожно, как бы извиняясь

за свое вторжение в "государственные" тайны частной жизни, начал он, — Фанья Яковлевна, скажьите, пожалуйста, как вы строите свой домашний бьюджет?"

"Что строю?" — переспросила мама, сморщив от напряжения лоб, что позволяла себе крайне редко: во-первых, морщины, во-вторых, вообще некрасиво...

Юрек достал из папки аккуратную книжечку в золотистом переплете с таким же аккуратным золотым карандашиком и, открыв на положенной страничке, заложенной золотым шнурком, стал медленно, по складам, зачитывать вопросы, подготовленные его бережливой женой: "Скажьите, пожалуйста, сколько рублей в день вы расходуете на... молоко, масло, крупу, муку, сыр?.."

Мама смотрела на него ясными синими глазами, в которых было столько вопросов и столько ответов, что Юреку все равно их никогда не понять. Но не перебивала. Выслушав до конца длинный список, где ничего не было забыто — ни чай, ни хлеб, ни сахар, ни картошка, — улыбнулась и спокойно сказала: "Не знаю, Юрек, выкручиваемся как-то..."

Ее сберегательную книжку я храню как завет внукам и правнукам: там никогда не было больше семидесяти рублей, а в наследство она оставила нам... три рубля. Но вазу так никогда и не продала, потому что ваза была не материальной, а духовной ценностью. И далеко от дома ваза была нашим ДОМОМ, который она спасала, как спасает солдат последнюю пядь родной земли.

Как же нескоро я научилась понимать эту одухотворенную человеком ценность вещи! Родители воспитали во мне спокойную независимость от сбережений и накоплений. И хорошо. Спасибо им за это! Но вещь, которая душа дома, узелок в его ткани, кирпич в его кладке, петля в его связке, — эту вещь надо беречь. Она держит дом. Она — его зашифрованная память, простейший, но незаменимый организм его флоры и фауны. Отдайте ее другому — и она погибнет.

Помню, как однажды мы весело спускались с гор с охапками ало-розовых горных пионов. Мы были молоды, легкомысленны и безответственны. Уже внизу к нам подошла пожилая женщина в белой панамке и очень вежливо сказала: "Простите, молодые люди, но вы убийцы". Мы захохотали. Мы предложили бабушке "идти своей дорогой..." Она посмотрела на нас, как на больных, которые не знают, что их болезнь неизлечима. В ее глазах не было презрения, скорее — сострадание. Мы на полуслове осеклись, даже, кажется, пытались извиниться. "Я не в обиде, — сказала она. — И вам не надо передо мной извиняться. Но только там, где вы сорвали эти цветы, они больше никогда не вырастут, а в ваших руках очень быстро завянут". Прошло полчаса, и роскошные

пионы буквально на глазах выцвели, высохли... Стало страшно.

С детства помню бронзовую люстру. Она свисала с потолка на длинных, заплетенных в тяжелые косы цепях, на которых покоилась плоская тарелка-клумба, усаженная по бокам свечками, спрятанными в бутонах оранжево-красных, из тончайшего венецианского стекла плафонов. Во время бомбежек люстра раскачивалась и красные бутоны опадали, покрывая пол мелкими осколками ее лепестков. Но приходил отбой — и затихала, обретая покой, много чего повидавшая на своем веку, все еще красивая люстра. Осиротевшую, с потухшими свечами, наполовину разбитыми фонариками, мы, уезжая, оставили ее охранять дом, держать на своих тяжелых цепях его пошатнувшуюся крышу. Когда мы вернулись, в доме мало что осталось, но люстра, потерявшая былой блеск (перед праздниками мама всегда начищала ее зубным порошком), расплескавшая свой свет (как же она горела, когда на ней зажигались все свечи и все лампочки!), — люстра, чуть покачиваясь на согнутых цепях, встретила нас, как встречает собака своих хозяев, надолго оставивших ее сторожить дом.

После смерти отца мы с мамой переехали на новую квартиру. Как и многие мои сверстники, верная ежеминутности моды, требованиям не вечности, а дня, я подло предала нашу старую люстру. Зачем она нам теперь, тяжелая, неповоротливая, в квартире с низкими потолками, где она, такая, не предусмотрена ни типовым проектом, ни условиями новой жизни? Уставшая от потерь и перемен, мама, не выдержав моего натиска, согласилась, и люстра осталась у новых хозяев нашей бывшей комнаты в коммуналке.

"Красивая штука, — сказали они, — дорогая, наверно, но уж больно старая".

Я часто возвращалась в наш переулок, затерявшийся в лабиринте Харитоньевских тупиков старой Москвы, где, по преданиям, гулял когда-то Пушкин, а вот теперь, не прижившаяся на шумном новом проспекте, бродила в поисках прошлого какая-то я... И всякий раз видела в окне одинокую люстру, которая освещала мое детство, дарила мне фейерверки огня и света, а теперь, брошенная, обременительная для чужих людей, покорно ждала, когда ее окончательно выбросят из жизни, в которой она со своей поистине светлой памятью оказалась никому не нужна.

И я не выдержала, я вернулась за ней. Новые жильцы, люди молодые, так и не успевшие разобраться в истинной стоимости "бандуры", как они ее называли, отдали люстру с удовольствием: "И куда вы ее? Только мешать будет..."

Она не мешала — она помогала. Часто по вечерам, когда не

стало мамы, она высвечивала в памяти любимые с детства предметы, которые пользовались когда-то ее теплом, а теперь проявлялись лучиками-пестиками оголенных, без красных бутонов, свечей. И возникал диван с разноцветными подушками. А над диваном в прямоугольных и овальных рамках — молодые лица моих родителей: с доверчивыми глазами, с благородным спокойствием и немного показной — для птички, которая вылетала в этот момент из щели аппарата всем известного в Киеве фотографа, — улыбчивой сдержанностью. И профиль красавицы бабушки с немыслимыми валунами на голове и роскошным корсетным бюстом. И благородный фас голубоглазого химика дедушки Яшуни — так в семье называли маминого отца Якова. И стянутое густой седой бородой, жесткое, волевое лицо мельника Хаима. И тихое, к нему обращенное, навек отдавшее ему свою женственность и когда-то буйную южную красоту лицо бабушки Фанни... Я никогда не увижу другой ее фотографии, которую, не исключено, сделал на память расторопный немецкий офицер, когда ее, грузную старуху, которая уже не могла сама передвигаться, немцы привязали к телеге и поволокли по Дерибасовской в гетто. А за телегой бежали ее дочери — две папины сестры, которые остались в Одессе, потому что не могли бросить мать. А за ними — мои двоюродные братья, чемпионы математических олимпиад, победители шахматных турниров, два моих одаренных брата, которых мне всегда приводили в пример. Все они погибли в гетто, куда бабушку, как рассказывают очевидцы, "не дотянули" — она умерла в пути. Обычно в память об умерших свечи зажигают, но на нашей люстре в память о них одна свеча погасла навсегда.

Я смотрю на люстру с надеждой, что она вернет, извлечет из небытия то, что безвозвратно ушло. И вижу...

Мою кровать с сеткой, а рядом — сложенный пополам ломберный столик, который много лет заменял туалетный, и лишь когда пришла пора с ним расстаться (столик был красного дерева, и его вынесли из дома все те же пропахшие вином люди, что унесли мамин "Бехштейн"), — так вот, когда пришла пора с ним расстаться, мы его разложили и обнаружили в маленьком ящике (и как они туда только попали и столько лет там пролежали!) пожелтевшие от времени (я тогда наяву увидела, что это такое — пожелтевшие от времени) брюссельские кружева, рассыпавшуюся в руках бисерную накидку и прозрачную, на свет просвечивающую шелковую черную шаль. Столик достался маме от моей прабабушки, и, значит, с тех пор, с начала века, его никто не открывал. И потянулась тонкая невидимая ниточка к той маленькой куколке-старушке, к которой меня, трехлетнюю,

подводили и чье гуттаперчевое личико сжалось папирусом, когда она, почти столетняя, не то заплакала, не то рассмеялась, увидев меня. А я испугалась и закричала: "Не хочу!" — и убежала из комнаты, приняв прабабушку за Бабу Ягу. И вот теперь она, словно обернутая в прозрачную шаль, легкая, молодая, еще не успевшая подарить жизни пятнадцати детям, совсем нестрашно улыбалась мне, прощая и мое бегство, и ужас перед ее почти вековым возрастом. И мне больше не было стыдно за тот позор, и я навсегда потеряла страх перед старостью.

Я сижу за стеклянным журнальным столом, таким стандартно-современным, таким прозрачно-холодным, и вижу наш несуразный, похожий на перевернутый шкаф письменный стол с неподъемным чернильным прибором, в чашечках которого я разводила для своих кукол манную кашу. Пресс-папье заменяло весы в моем магазине, зеленая поверхность стола была прилавком, а в глубоких ящиках хранились крупа, картошка, конфеты — такое маленькое домашнее сельпо. После закрытия "магазина" папа никогда не мог найти нужных ему бумаг — за ненадобностью они извлекались из ящиков и оказывались под столом.

Мама предлагала немедленно принять меры: "В конце концов, сколько можно?!" — металлическим голосом спрашивала она.

После, в школе, за этот "металл" и педагогическую требовательность ученики называли маму "богиней зла". "Богиней" — потому что красивая, а "зла" — потому что строгая, но, как все говорили, справедливая. Сколько лет прошло, а я, случайно встречая ее учеников, от академиков до журналистов, узнаю, что они часто вспоминают свою "богиню", которая научила их любить немецкий в те времена, когда иностранные языки вообще считались никому не нужными, а тем более немецкий.

Но если вернуться к моим играм, то у папы была своя система воспитания. По этой системе, прежде чем наказать, надо было обязательно похвалить. И хвалил — за то, что так удачно приспособила письменный стол для... продовольственного магазина. Только после этого он напоминал, что у стола есть еще одно назначение, например, за столом можно работать — писать, читать... Это, конечно, не так интересно, как продавать картошку, зато и не так бессмысленно, потому что картошку можно купить в угловом магазине, а разложить бумаги на его прилавке глупо — для этого как раз и существует письменный стол. Постепенно я полюбила сидеть за шкафом-столом, размазывая на белых листах ватмана каракули-иероглифы, которые папа называл красивым словом — рукопись. Вообще папа полагал, что игра требует жертв, и никак не мог согласиться с мамой, что изящный

маникюрный набор в коробке, обшитой вишневым бархатом, нельзя использовать для такого полезного дела, как сапожная мастерская. Тончайшими пилочками и щипочками с белыми перламутровыми ручками я "чинила" толстые подошвы туфель и надрезала резину на галошах. Это было чистейшее варварство. Однажды, когда погнулись маленькие ножнички, я почувствовала жалость к их слабости и беззащитности и с тех пор уже никогда не пользовалась ими для починки обуви. Но по-прежнему мечтала: по утрам быть сапожником, днем — хирургом, а вечером — балериной... Грубый кухонный нож потрошил бедных кукол, вырезая у каждой аппендикс, а белоснежная тюлевая накидка для подушки заменяла газовый, "для сцены", плащ. Каждый день мама задавала один и тот же вопрос: "Где нож?" И каждую неделю стирала накидку...

Но, наверно, именно потому, что вещи в доме из вожделенных и недоступных становились дозволенными предметами детских игр, в которых принимала участие вся наша дворовая команда, — именно потому я так хорошо их помню. Как помню, вижу, будто и сейчас передо мной, черную шелковую ширму, расшитую пурпурно-зелено-синими попугаями. Потому как это была ширма нашего кукольного театра и занавес — "Художественного". И кто только не участвовал в представлениях — тапочки, кувшины, дуршлаги, выбивалка для зимней одежды, папина сеточка для волос (чтобы не так вились), бабушкина шляпка с вуалью, мамина единственная в жизни черная в блестках маскарадная юбка, которую я тоже храню по сей день... И наконец, самая бесценная, ну просто незаменимая для игр вещь, прославленная в стихах Игоря Северянина (о чем я узнала значительно позже), — "шиншилля". Таинственный мех из заокеанской жизни. Из приключений прекрасных незнакомок, которые, выпорхнув из лимузинов и небрежно спустив его на плечи, вбегают в распахнутые для них швейцаром двери... А там, за дверью... знойное танго, бокалы с шампанским и вращающий глазами герой, который норовит скинуть с прекрасной дамы охраняющие ее честь шиншилля.

К нашей жизни все это отношения не имело. Шелковистый серебристый мех, присланный когда-то из Парижа все той же загадочной троюродной тетей, манекенщицей Надей, был тем, чем и должен был быть, — воротником маминого дважды перелицованного зимнего пальто. Но пока шиншиллу еще не пришили к пальто, и мех с присущей маме аккуратностью хранился в мешочке, на дне которого мерцали хрусталики нафталина, он играл главную роль во всех наших представлениях. Мы ценили воротник за его бесконечную

способность быть неузнаваемым. Количество сыгранных им "ролей" невозможно перечислить. Мех одинаково легко справлялся с образами кошки и льва, девочки, затерявшейся на плавучей льдине (Карины, которая почему-то казалась мне дочкой Папанина), и мальчика из Якутии, приехавшего в Артек... Я уж не говорю о всевозможных дамах, королевах, разбойницах, волшебницах — они бы много потеряли, если бы не... шиншилла!

Как же хорошо, что вещи в доме из неодушевленных становились душой моих родителей оживленными. И маленькие чашечки аристократического происхождения (не то Кузнецов, не то Гарднер) не стояли напоказ в выставочной недоступности за стеклом буфета. По торжественным дням, которые в нашей семье бывали так часто, что и будни казались праздником, из них пили чай, потому и бились и не стали антиквариатом, припасенным для комиссионного магазина.

Мало что сохранилось из тех дорогих моему сердцу вещей, но они — знаки дома, отпечатки его души, видимые следы его маленькой истории, которая незаметно, нешумно, но все равно вливается в общую и всегда будет напоминать моим внукам и правнукам, что они — не сами по себе. Что они — продолжение и утверждение жизни уникального, в каждом отдельном случае, заповедника, сохранить и сберечь который дано лишь им, наследникам.

* * *

Вещи можно сохранить, звуки — воспроизвести, но нельзя перенести в будущее запахи дома. Их возвращают и лишь ненадолго удерживают (как тепло у зимнего костра) щедрые на быстрый огонь, набегающие и тут же куда-то ускользающие ассоциации. Кто-то жарит на лестничной клетке рыбу — запах въедливый, противный, жильцы отмахиваются от него, как от докучливых комаров. Но однажды останавливаешься и «слышишь» благовоние бабушкиной фаршированной рыбы, терпкие — лаврового листа, хмельные до головокружения — хрена.

У запахов дома свой нрав, свой характер — они бывают добрыми и злыми, ласковыми и раздражающими. Добрые приносили стабильность, покой. Они не преследуют, они сосуществуют со мной, как верные друзья, которых можно месяцами не видеть, но при этом знать, что они есть.

Когда для удобства и простоты я покрыла пол лаком и в дом вошел его ядовитый, злой запах, я вдруг почувствовала на губах вкус мастики, свежее, как в морозный январский день, дыхание воска. У мамы был культ пола. Он сверкал как зеркало, по нему можно было скользить как по льду катка на Чистых прудах.

Поставив ноги на суконки, мы с папой выделывали на полу немыслимые пируэты, кружились в вальсе, пролетали в танго из одного конца комнаты в другой... И каждый, кто приходил в дом, считал себя обязанным проскользнуть на маминых суконках — отдать дань этому необременительному культу. Запах мастики — это преддверие воскресенья, канун Нового года, начало весны... Запах мастики — это запах разодетой, как невеста, елки, громадного, на полстола, кренделя — благоухая ванилью и корицей, он первым поздравлял меня в детстве с днем рожденья.

Но запах мастики был и в тот день (Восьмое марта, праздник!), когда ОНИ пришли. Он стал вдруг въедливым и неприятным, точно вобрал в себя запах их галош, их пота, их папирос. Сколько потом ни натирали пол, сколько ни пытались вернуть дому его былую сквозную свежесть, миазмы той нескончаемой ночи не выветривались, окутывая болотной тоской, как бывает в душные, пасмурные предосенние дни, когда кажется, что воздух остановился и дышать нечем.

И также надолго застрял в доме всегда утренний, бодрящий, а с того дня тошнотворный, приторный запах кофе. Никогда не изменяющая своему правилу угощать каждого кто входит в дом, бабушка осмелилась угостить этих «гостей». Она наивно полагала, что любой человек, если его накормить, становится добрее. Незаметно исчезнув из комнаты, хотя приказано было всем оставаться на своих местах, бабушка вдруг появилась с подносом, на котором были разложены бутерброды... лесенкой, и на каждом в венчике зелени — аккуратные ломтики колбасы, сыра, а рядом в красных с белым горошком чашках дымился пахучий, дразнящий кофе, какой умела делать только бабушка.

«Мы на работе... не положено», — сухо отозвался на ее просьбу перекусить, по-видимому, главный у них и, облизнув сухие губы (ведь всю ночь «работали»), отвернулся. Кофе так и простоял весь день на столе, мучая сладким, каким-то вокзальным запахом, и немало дней прошло, прежде чем он вернул свой — утренний, домашний.

Дух ДОМА... Это аромат кофе и чая, корицы и ванили, поджаренного хлеба, кипящего подсолнечного масла, в котором розовело, но никогда не подгорала нарезанная «лапшичкой» картошка. Это еле уловимая волна, как ветерок в приоткрытую зимнюю форточку, пудры «Красный мак» и неожиданный вихрь, распахнувшей двери гостям, — запах маминых любимых духов «Красная Москва»...

...До отхода поезда «Москва-Ташкент» оставались считанные минуты. Мы стояли около вагона, высматривая из толпы, которая покрывала перрон черной густой массой, нашего Пипина

Длинного (так я его называла в противовес Пипину историческому, но Короткому). Мама, испугавшись, что меня еще совсем маленькую, сомнет, раздавит атакующая толпа, схватила, подняла на руки и ... тут я его увидела. Поверить в это было невозможно, но он бежал к нам (если это пробивание сквозь густой поток можно было назвать бегом), держа высоко над головой инопланетный на этом перроне, в этой стонущей, кричащей, ревом ревущей толпе букетик цветов. Каких — не помню, но то были ЦВЕТЫ. Как будто он провожал нас на лето в Киев (там уже давно были немцы, и мы не знали, жива ли киевская бабушка, удалось ли ей эвакуироваться). Поезд качнуло, и, как бы выведенные этим толчком из оцепенения, люди с новой силой заголосили, завыли, и вместе со всеми истошно закричала я: "Папа!" Он подбежал в тот момент, когда чьи-то руки затащили нас на площадку. Он вскочил на подножку, и я увидела, что он плачет. Я тогда впервые узнала, что папа умеет плакать, а второй раз увидела его слезы, когда уже не мы уезжали, а его уводили от нас.

Поезд, точно сдвинутый стоном тех, кто провожал, сотрясаемый криком тех, кто уезжал, не поехал, а поплыл, оставляя на берегу любимый город и самого любимого на земле человека. Бежать за поездом, как обычно — наперегонки с поездом, папа не мог. Толпа захватила его, оттеснила, надолго отбросив от нас, от прежней жизни, от пахучего мирного дома. В руках мамы остался растерзанный букетик и маленький пакет в фирменной бумаге Мосторга на Петровке. Когда наконец мы устроились на боковой скамейке рядом с двумя зареванными мальчишками и толстой, обернутой в две шубы женщиной, — только тогда мама вспомнила о пакете. Смущенно оглянувшись по сторонам, как будто боясь, что содержимое пакета может обидеть соседей, мама, отвернувшись, надорвала бумагу... В пакете оказалась красная коробочка, выглядевшая вызывающе своей мирностью, своей душистой непричастностью ни к этому зловонному вагону, ни тем более к тем событиям, которые назывались в сводках "Немцы под Москвой" и которые гнали нас неизвестно куда, и, кто знает, может быть, навсегда. Но словно всем бедам вопреки в коробке золотился флакон любимых маминых духов "Красная Москва".

А когда через два года мы вернулись домой, нас встретил резкий парикмахерский дух одеколона "Шипр", полоснувший чужим, враждебным миром. В нашей квартире, в бывшей нашей комнате, где когда-то сверкала, упираясь в потолок, елка, где за длинным, раздвижным на три доски дубовым столом по праздникам садилось не меньше тридцати человек, где на

блестящем паркете папа учил меня танцевать вальс-бостон... В нашей комнате, которая помнила столько смеха, шуток, гостей, театров, маскарадов... В нашей комнате, где на стенах висели портреты бабушек и дедушек, а в книжном шкафу, еще не тронутые мною, стояли те книги, которые мне предстояло прочесть, и те, которые читали с детства... В нашей комнате, где после скарлатины, закутанная в платок, съежившись в комочек на диване, я слушала папину любимую песню про черного бэби и не могла представить себе, что, если верить песне, отец и мать могут оказаться в чужом краю... В нашей комнате поселился толстый, с гнилыми зубами человек, который доказал мне, что — могут.

Этот человек никогда не мылся. Какой-то шутник, наверно, в отместку за "добрые" дела, убедил его, что вода "высушивает" легкие. Его образования хватило как раз на то, чтобы в это поверить. Он был герой прошлого, как выяснилось в будущем, — фиктивный. А в настоящем — управдом. Пока папа делал для фронта "катюши", а мама таскала на заводе опилки, он, воспользовавшись нашей задолженностью за квартиру (не до того было), самовольно вселился в комнату, которая ему, всесильному управдому, имела несчастье понравиться. Нам милостиво оставил вторую, поменьше, — шестнадцать метров. Борьба за возвращение нашей бывшей комнаты стоила папе семи лет жизни вне дома. Своей упорной тяжбой за правду отец утомил "героя". Сочинив очередной донос, с помощью которых он, по-видимому, не впервые освобождался от неугодных ему людей, управдом избавился и от докучливого соседа. Тогда, конечно, мы этого не знали, как не знали, что папа прямо из Москвы только ему ведомым путем собирался перейти границу... государства Израиль, чтобы стать там... министром иностранных дел. Папа посоветовал следователю для большего правдоподобия сделать его, по крайней мере, министром тяжелой промышленности. Впрочем, согласно приговору, еще до перехода границы папа вместе с другими членами некой антисоветской сионистской организации, которую возглавляли якобы Эренбург и Михоэлс, "намеревался нанести удар в спину Советской власти и лично товарищу Сталину".

Поверить в эту абракадабру невозможно, но именно она и легла в основу "состава преступления" и отправила папу в Тайшетские особого режима лагеря.

Семь лет (а в общей сложности — двенадцать) мы дышали "Шипром". Ели суп, котлеты, компот, надушенные одеколоном. Он спрыснул нас зеленой жижей, как опрыскивают клопов и тараканов, но мы были живы, задушить нас ему не удалось. Отец вернулся ровно через неделю после того, как бывшего управдома

отвезли в больницу. Ко всему привыкших санитаров покачивало, когда они выносили "героя" из его (нашей) комнаты. "Он им мылся, что ли?" — пошутил один из них, не ведая, что в этой шутке была не доля, а вся правда.

На дверях комнаты повис тяжелый замок, который очень быстро был снят, и вместе с извинениями за "ошибку" мы получили обратно нашу комнату, где некогда, когда-то... А теперь стоял с ног валящий, глаз режущий парикмахерский дух. С тех пор, когда я слышу этот запах, или не этот, но отдаленно напоминающий его, я вижу перед собой кривоногого осанистого человека в защитного цвета, без единой морщинки френче, с черными, по-кавалерийски закрученными усами, которые не прикрывали, а почему-то обнажали его гнилые зубы... Вижу его неслышную, кошачью походку, его желтые, в крапинку, руки, его серую папаху и маленькую тюбетеечку, в которой он ходил дома. Вижу нашего ласкового ("как здоровьице, какие отметочки, почему мамулечка в плохом настроеньице..."), музыкального ("Ой, Галина, ой, дивчина" — и это каждый вечер), услужливого ("чаек кипит, выкипает, всю плиту заливает, я его вылил..."), нашего всеми ненавидимого управляющего домом, который для сохранения здоровья поливал себя "Шипром" и задохнулся в нем.

Судьба жестоко отомстила ему — он не умер, как установили врачи, а лишь заснул летаргическим сном. Проснулся "герой" в... морге, среди гробов и трупов, отчего лишился рассудка, но продолжал жить и мучиться. Его тихая блаженная племянница рассказала нам, что дядя по ночам забивался под кровать, все прятался от каких-то преследующих его врагов... В этой фантастической истории нет ни слова выдумки — если бы я писала повесть, то, не исключено, придумала бы что-нибудь поувлекательнее. Но я пишу про свой дом, который через некоторое время снова стал нашим, хотя иногда казалось, что из какой-то щели вдруг повеет тошнотворным запахом "Шипра", — но это, наверно, только казалось. В нашей комнате началась прежняя жизнь — так уж устроен человек, и слава богу, что так.

* * *

Мне кажется, первое, что помню в жизни, — это подарки. Не дорогие, не особенные, не те, что где-то достают и откуда-то привозят... А те, в которые вкладывают талант, которые задумывают и придумывают, которые сочиняют... Делать подарки — это, по-моему, целая культура. К подаркам в доме задолго готовились. На них настраивались, к ним пристраивались... Они — всегда сюрприз, неожиданность, нечаянная, но долгожданная радость.

Никогда не забуду темные, зимние рассветы в дни своего

рождения, которых я ждала задолго, ибо знала: когда открою глаза, увижу рядом с кроватью на стуле... Нет, я не знала, какие именно, но то, что УВИЖУ, что они ждут меня, — знала определенно. Я засыпала в ожидании чуда и просыпалась, им пораженная. И какая же это была радость — разбирать, разглядывать, кричать родителям, их купившим: "Смотрите, да смотрите же вы!" И они смотрели так, как будто и сами не знали, что там лежит на стуле. Мы вместе раскрывали их инкогнито и тут же начинали читать книжку или, разложив на полу картонные листы, бросать фишки и пускаться в бесконечные путешествия тогдашних настольных игр.

Потом, уже перед маминым днем рождения, я сама вступала в заговор, в тайное общество, цель которого была только одна — подготовить подарочный взрыв, который на сей раз потрясет радостью маму. И это повторялось всякий раз. Куда бы папа ни уезжал, пусть на день, он обязательно привозил с собой сувениры. И даже когда он был лишен возможности не только что-то посылать, но первое время даже писать, он умудрился (через два года) непонятно как, с кем, но точно к маминому дню рождения прислать ей подарок — пустую коробку из-под конфет, яркую металлическую коробку японского происхождения, которую, как и мамину сберегательную книжку, я храню для будущих поколений нашего дома.

Однажды, уже по почте, отец прислал, опять же к маминому дню рождения, коробочку с какими-то дешевыми духами, но это были самые дорогие духи, дороже "Коти" и "Шанели" — им просто цены не было. Я думаю, мало есть женщин, которые получили бы в подарок ТАКИЕ духи, заработанные в ТАКИХ условиях и ТАКИМ трудом (вот флакон этот не сохранился...). И уже за год до освобождения, шестого апреля 1955 года (мамин день!) нам принесли из цветочного магазина на Пушкинской традиционную корзину цветов, какую в этот день приносили раньше всегда. Потом мы узнали, что корзина стоила его годовой зарплаты. (Как обидно, что пропала и эта корзина, что я не засушила в какой-нибудь толстой книге хотя бы один из нее цветок!)

Цветы — это обязательный ритуал повседневной жизни нашего дома. Цветы дарились не в день Восьмого марта или в какой-нибудь другой, когда их положено дарить. Цветы в руках отца означали — "Здравствуйте, я пришел...". Цветы были его постоянным объяснением в любви — прежде всего маме. Впрочем, куда бы они ни шли, отец обязательно, если в доме была женщина, покупал цветы.

Я жалею, что у меня нет брата — мужчины, который своими глазами видел бы и запомнил, что значит — любить и почитать

женщину. Вообще женщину. Папа никогда не позволял себе сесть в метро или в трамвае, если стояла или входила женщина. (И объявлений по радио для этого не требовалось). У него было правило: "Всегда найдется женщина, которой надо уступить место..." Он окружал женщину вниманием, которое было не просто техникой поведения, а талантом — видеть в каждой, даже не очень красивой и совсем не молодой, все равно красивую, все равно молодую. Он говорил: "Женщине нужно совсем немного — вовремя сказанное слово, вовремя оказанное внимание..." Я еще скажу потом об этом его умении внушать людям (не только женщинам) уверенность в себе. Но сейчас, пока еще есть время, отпущенное книгой на эту главу, я хочу вернуться в наш дом — вместе с теми, кто любил в него приходить, кто всегда бывал в нем желанным гостем, а нежеланных — не было.

У каждого из нас был в жизни случай, который не просто запомнился, а чему-то раз и навсегда научил Однажды (мне было тогда лет пять) я обнаружила в глубине буфета коробку конфет. У нас в семье не принято что-то делать тайком, но в детстве тайна необходима. Коробка стала моим секретом. Я не была жадной, но мне нравилось, что у нас с коробкой свои отношения, которые, как и все хорошее, скоро кончились по той простой причине, что в коробке не осталось ни одной конфеты. Наступил день, когда мне стало стыдно за мою маленькую тайну. Пришли гости, для которых эта коробка и была предназначена. Мама поставила ее на стол, торжественно открыла... Гости сделали вид, что ничего не заметили, но не заметить пустоту невозможно... Мама обратила все в шутку, а папа неожиданно исчез (он умел исчезать и появляться с такой быстротой, что никто не успевал обнаружить его отсутствие) и вернулся с другой коробкой. Я сидела красная, сердитая, всеми недовольная, как будто не я, а они съели эти конфеты (уже потом, в своей взрослой жизни я не раз замечала, что когда человек в чем-то сам виноват, он предпочитает злиться не на себя, а на других). После мама сказала: "Это было для гостей, а то, что для гостей, — то для гостей".

С тех пор, уже сама став матерью, я никогда ничего не брала из буфета без ее разрешения. Не потому, что боялась ее гнева, а потому, что, как и мама, боялась, что нечем будет угостить. До конца жизни, как бы трудно мы ни жили, мама всегда хранила в тайниках коробочки консервов, печенье, конфеты... "Это для гостей", — жестко говорила мама, когда внук обнаруживал в ее тайниках, которые до смешного быстро раскрывались, какой-нибудь деликатес. А сейчас он и сам привык к тому, что спрятанное для гостей "жизнеопасно" для хозяев.

"Гостя надо принять", — любила повторять моя бабушка. В

голодном Ташкенте она умудрялась "принимать" моих подруг, деля на равные куски ту буханку черного хлеба, за которой выстояла полдня в очереди. Из этого хлеба она делала "пирожные", поджаривая его и обмазывая патокой, предназначенной для подушечек.

Недавно наша бывшая студенческая группа праздновала двадцатипятилетие со дня окончания института. О чем только мы не вспоминали, какие только подробности своей юности — романы, конфузы, конфликты с преподавателями, собрания, на которых разбирался чей-то морально-аморальный облик. И вдруг все разом, в один голос: "А помнишь, как мы ввалились к тебе чуть ли не целой группой... Ну помнишь?!" Еще бы мне не помнить, как мы "вваливались", человек двадцать пять, не меньше, в нашу шестнадцатиметровую комнату, и бабушка из "тайников" доставала "Бычки в томате", и нажаривала гору картошки с колбасой, и заваривала по-своему чай, и тут же, спохватившись, что "в доме, как назло, ничего нет к чаю" делала из хлеба (правда, теперь белого) традиционные гренки, а из манной крупы "на скорую руку" оладушки, повкусней пирожных из Столешникова. Как же я могу забыть ее "крохкий" пирог и сметанный торт, ее пампушки, пончики и ватрушки... Ее куличи, которые еще с киевских времен она всегда пекла на русскую пасху. Выросшая в патриархальной еврейской семье (мой прадед был талмудист, или, как его еще называли, "ученый еврей"), бабушка соблюдала все православные праздники и все еврейские — лишь бы можно было приготовить, угостить, до отвала накормить... Перед праздниками она готовила только ночью, когда тихо, когда никто не мешает, не отвлекает. Она была поистине поэтом кулинарии, она творила свои блюда, как художник творит произведения искусства, и, как художник, страдала, когда у нее что-то не получалось, и, как художник, радовалась, когда ее хвалили, восторгались... ее жаренной с яблоками уткой или селедочным паштетом — форшмаком. Она и о людях судила по тому, как они едят. "Хороший человек, — говорила бабушка, когда кто-то с аппетитом уплетал результаты ее бессонных ночей, — он понимает, что ест, а этот — так себе, малосимпатичный гражданин: он не может отличить шкварки от лапши..." И сколько мы потом ни убеждали ее, что как раз специалист по шкваркам (жаренный на гусином или курином жире лук) в других жизненных обстоятельствах проявлял себя далеко не лучшим образом, она не хотела этому верить. Но что интересно — во многих случаях оказывалась права именно она, а не мы.

Все свои рецепты бабушка записывала на обрывках бумаги,

которые складывала в старую коробку из-под туфель. Во время переезда на другую квартиру коробка куда-то исчезла. Погибло ее наследие — нам завещанное, нигде не изданное, не имеющее вторых экземпляров полное собрание ее стихов, поэм, музыкальных сочинений — ее кулинарные рецепты. Пропал результат многолетнего творчества, который я не сберегла и никогда не смогу восстановить, потому что, увы, не унаследовала ее дара, а мама все делала по памяти, и, хотя у нее никогда не получалось, как у бабушки (ибо любой талант уникален), она старалась, как говорила, держать форму и не терять бабушкиной школы. Но школа на ней кончилась, а значит, что-то необратимо ушло из нашего дома. Как же поздно я поняла это! Как легкомысленно отбрыкивалась, когда мама говорила: "Учись, пока я жива". Она все собиралась восстановить бабушкины записи, но так и не успела. И все-таки какие-то обрывки я нашла и храню там же, где хранятся японская коробка, брюссельские кружева и мамина "поистратившаяся" сберкнижка...

* * *

...Как же в юности нам хочется, чтобы они ушли. Как ждем того часа, когда сможем остаться без них дома. Но вот они ушли, и теперь уже навсегда. Но всякий раз возвращаются, когда я натираю зубным порошком все еще живую старую люстру. И ставлю на стол вазу-лодку... и расправляю сжатые крахмалом складки белой скатерти. И прячу конфеты в тайник, о котором все знают. И еду в Столешников за пирожными, которые, как уверяют, стали хуже, а мне все равно, для меня они все те же... И покупаю маленький флакончик немодных духов "Красная Москва". И зову гостей, и чем больше, тем лучше, хотя говорят, что и это уже не в моде. И надеваю красивое платье, когда иду в театр (хотя давно никто не одевается в театр), а в антракте, как когда-то с папой, иду в буфет и пью подслащенный теплый лимонад, который кажется мне шампанским... И покупаю в дом цветы, и уступаю место пожилым женщинам в метро, которые смотрят на меня с удивлением, потому что я давно не девочка и вправе надеяться, что кто-то уступит место и мне, но что-то не много охотников его уступать... И поздно вечером, когда прихожу из консерватории, я повторяю мамино: "Какой был вечер, какой удивительный был сегодня вечер..." И когда опускаю мембрану на пластинку и слышу: "О, если б навеки так было...", я знаю — они возвращаются.

КАК ТВОЯ ФАМИЛИЯ?

Поезд должен был прийти рано — что-то около девяти утра. Когда объявили, что он опаздывает на час, я вздохнула с облегчением. Мама волновалась, нервничала: "Ну как же так... Семь лет ждали, а теперь еще целый час". Я пробурчала, что вот именно — семь лет, какую роль может играть какой-то час... Но когда через час стало известно, что поезд "Тайшет — Москва" прибывает с опозданием на три часа, и мама, не выдержав напряжения, расплакалась, я... обрадовалась, что еще целых три часа отделяют меня от того момента, который я больше всего ждала и больше всего боялась. Нет ничего хуже долгого ожидания, равно как провожания, но на сей раз я была благодарна тогдашним "подаркам" на железной дороге. Никогда и никому не рассказывала я о своем позоре, а сейчас, в этой книге, считаю долгом рассказать.

Мама что-то заметила, но, видно, решила, что я стараюсь, держу себя в руках, показываю, так сказать, положительный пример. Она даже смутилась своих слез и виновато посмотрела на меня, не догадываясь, что это я виновата перед ней. Мама думала — я сильная, а на самом деле — слабая, трусливая, потому что... боялась. Боялась, что увижу другого папу, а ДРУГОГО я не хотела. Я сознавала свою жалкость и ничтожность, но не находила в себе мужества встретить ЛЮБОГО. Изжитого жизнью, забитого, затравленного, потерявшего свой былой облик — пусть! Мне не страшно, я приму его, каким бы он ни стал, я крикну "Папа!", даже если этот человек будет... другим человеком. Но нет — я не хотела ДРУГОГО, я малодушно хотела только прежнего. Сохранного во всем — и в том, как появится на площадке вагона, и как приветственно помашет рукой, и как весело подмигнет, и как кинет нам на руки какой-то пакет, в котором будет что-то такое, чего еще никогда ни у кого... Я прекрасно понимала, что этого не может быть, ибо этого быть не может. Но в глубине души, сама того не сознавая, я УЖЕ стеснялась этого наверняка другого человека. Потому и обрадовалась отсрочке долгожданной встречи, а когда сообщили, что поезд прибывает на платформу и встречающие могут... Я не могла пошевельнуться. Быть может, что-то подобное происходило и с мамой, потому что, когда поезд подошел к перрону и все кинулись к вагонам, мы стояли как приклеенные, не в силах отодрать подошвы от расплавленного под летним солнцем вокзального асфальта. На какую-то секунду показалось, что его вообще нет в поезде — ведь всегда первым выбегал, — или, Бог

мой, неужели он так изменился, что мы его не узнаем?! Стоит рядом, смотрит на нас, а мы не видим?! Уже все вышли и перрон почти опустел, когда он появился на площадке, — высокий, прямой, в сером бумажном костюме, какие носили тогда трактористы-механизаторы, в тщательно завязанном ярком, попугайском галстуке (за песню "Спят курганы темные..." подарил от широты души какой-то уголовник), в широкополой шляпе (заработанной постановкой тематического концерта "Тот, кто с песней по жизни шагает..."), с деревянным чемоданчиком в руке — подарок хирурга Ивана Монюха, который дважды спас его от смерти. Все эти подробности мы, конечно, узнали потом. А тогда увидели не ДРУГОГО, а прежнего — похудевшего, постаревшего, но все такого же — родного до каждой морщинки у глаз, которые в эту минуту сквозь слезы улыбались нам, — нашего длинного ПИПИНА. Он говорил потом, что год готовился к этой встрече, в которой не забыл ни про галстук, ни про улыбку, ни про свой — для нас — "президентский" жест. Он мечтал, чтобы с самого начала все было, как всегда, чтобы этих лет как не было — не хотел перекладывать на нас их неподъемный груз, мучить наглядностью своей памяти. Он не позволил новой жизни сжаться под прессом его воспоминаний. Нет, он ничего не забыл, но считал, что это ЕГО сон, который до конца жизни мучил по ночам кошмарами, но нельзя, говорил он, заставлять других смотреть чужие сны, им хватает своих. Он все откладывал тот день, когда подробно расскажет... Мы не торопили и тоже откладывали. Жизнь брала свое и отдавала свое — мы так и не успели с ним поговорить...

* * *

Мы шли с папой по улице Горького в прекрасном настроении. Было самое начало апреля сорок первого — тепло, сухо, и наши ноги весело топали по блестящему асфальту без ненавистных для обоих галош, которые мама первый раз в этом году разрешила снять. Тот, кто не носил галош, не знает, что за радость сбросить их пудовую тяжесть и шагать по чистому теплому асфальту, поскрипывая новенькими туфлями на коже, которые и сами невесомы, и тебя превращают в пушинку. А если ко всему вместо толстой вязаной шапки с ушками — маленькая, сдвинутая на затылок беретка, а пальто расстегнуто, и руки, что уж вовсе непостижимо, без варежек на тесемочке, то это — счастье! Счастье освобождения от зимних пут, от удушья теплой одежды — оглушающих ушанок, надвинутых на глаза козырьков и длинных шарфов, веревками стягивающих горло и пластырем — рот, чтобы ртом не дышать, а только носом, а еще лучше вообще не дышать. Кто этого не помнит в свои пять-шесть лет, пусть

тогда вспомнит, как в тридцатиградусную жару, в плацкартном или общем вагоне впервые ехал отдыхать на юг, а потом три часа добирался до желанного места в переполненном автобусе, в котором потные женщины везли продавать на базар живую птицу, а подвыпившие курортники дышали на вас недельным перегаром... Но вот вы выскакиваете из автобуса и, бросив вещи на берегу, кидаетесь в море. Примерно то же самое испытываешь в детстве в первый весенний день, когда, сбросив надоевшую, закандалившую тебя за зиму тяжелую одежду, идешь с молодым веселым папой по улице Горького, и твоя рука в его, без перчатки, руке, и твоя нога — к его ноге, и все солнце для тебя, и даже одно эскимо, которое можно съесть открыто, прямо на улице, на зависть тем, у кого гланды, а у тебя их вырезали. Вот в такой счастливый, ну просто замечательный весенний день нам повстречался ничем не примечательный парень лет, наверно, тринадцати. Оглядев меня, он быстро, как считалочку, проговорил: "Бей жидов, спасай Россию!" Я не знала, что такое "жиды". Однако настроение враз было испорчено, драгоценное эскимо как-то незаметно выпало из руки и, проскользив по светлому пальто, шмякнулось на асфальт. "Дур-р-рак какой-то", — чуть не расплакалась я, переживая больше потерю эскимо, чем непонятное, но почему-то все равно обидное, все равно оскорбительное слово "жид".

Папа побледнел и, не говоря ни слова, крепко сжимая мою руку, хотя я и не собиралась вырываться, а непроизвольно сама теснее прижалась к нему, быстро пошел в подворотню, в которой скрылся парень. Тот притаился за углом, а когда увидел нас, от неожиданности не успел убежать. Теперь папа держал за руки нас обоих, не больно, но тот все равно заканючил: "Дяденька, отпустите, я больше не буду", — и стал быстро оглядываться: то ли в надежде на помощь, то ли в страхе, что кто-то увидит его позор. Папа медленно, четко, со своей идеальной дикцией стал говорить мальчишке, что он, наверно, самый храбрый в этом дворе, так что непонятно, зачем такому смельчаку прятаться. "Но может быть, — искренне удивился папа, ты и сам не понимаешь, что сказал, если ты... прости, — неподдельно смутился папа, — я не спросил, как тебя зовут". "Андрей", — почему-то отвернувшись, буркнул парень. "Так вот, Андрей, — продолжал папа, а тот, перестав канючить, слушал его так, как будто ему рассказывали сказку, — чтобы стать сильным, вовсе не обязательно кого-то бить, тем более маленькую девочку, которая никогда не сможет тебе ответить, так что, согласись, не велик подвиг... Что касается страны, в которой мы с тобой живем, то она тоже достаточно сильная, чтобы избавить себя от необходимости бороться с

девочками, равно как и с мальчиками. Ну, а теперь — спокойно продолжал папа, — о жидах. Жид — это по-польски, а по-русски — еврей. Ты, наверно, знаешь, что на свете живет много народов — русские, грузины, украинцы, французы, — и каждый по-своему замечательный. Есть на свете и такой народ — евреи, очень древний и вполне достойный. И никто никому не враг. Вот так", — задумчиво заключил папа и с непонятной мне тогда грустью посмотрел на мальчишку.

Я сама рот открыла — слушала, мне об этом раньше никогда не говорили. Я знала, что еврейка, но что это также нормально, как быть "армяном" (так я говорила в детстве). Я и подумать не могла, что из-за того, что еврейка, кому-то придет в голову мысль меня бить. Война еще не началась, про уничтожение Гитлером евреев при мне не говорили, фильм "Семья Оппенгейм" я не видела, маленькой была.

После не раз, в разной форме и не всегда так мирно, так безопасно, мне приходилось слышать нечто подобное тому, о чем кричал мальчишка. Но как бы ни было больно от противоестественной, заключенной в этих словах обиды, я старалась пожалеть обидчика, хотя иногда жалеть было не под силу. Внушить себе, что он не виноват, ну не повезло бедняге, не объяснили ему вовремя простых истин, которые объяснил нам в тот весенний день отец. А если бы в детстве рассказали...

"Ну... а как насчет мороженого?" — неожиданно спросил папа. "Это можно", — весело ответил парень. Мы вместе вышли на улицу и зашагали по теплому асфальту за эскимо.

* * *

У него была любимая шутка, которую я долго не понимала: она мне казалась сначала смешной, не более того. Встретит на улице какого-нибудь мальчишку (чем позамурзанней, тем ему интересней, а мимо плачущего вообще никогда не пройдет) и обязательно спросит, как его зовут. Одни тут же убегали, другие огрызались: "А вам зачем?" В любознательности чужого дяди они усматривали непонятную им хитрость, какой-то подвох, который наверняка хорошо не кончится. И все-таки одни — кривляясь, другие — смущаясь, и лишь немногие — спокойно, с достоинством, говорили, как их зовут, — правда, тут же убегали, не дожидаясь, что будет дальше.

"А фамилия? — не унимался отец. — Как твоя фамилия?"

"Фигушки!" — кричали ребята, как будто боялись выдать государственную тайну. Папа был невозмутим.

"Так как твоя фамилия?" — спрашивал он нового знакомого, и, если тот называл, радости папы не было предела, как будто он всю жизнь только о том и мечтал, чтобы познакомиться с этим

Петровым или Ивановым.

"Иванов? — переспрашивал папа, словно что-то припоминая, а "вспомнив", с удовольствием говорил: — Так ты сын ТОГО САМОГО ИВАНОВА?"

"Да, — смущенно отвечал Иванов, — того самого..."

"Это прекрасно, я так и думал, передавай отцу привет".

И мы шли дальше, оставляя Иванова или Петрова в полном недоумении.

"Ты ведь не знаешь его отца, — удивлялась я. — Зачем ты передавал ему привет?"

Папа искренне расстраивался моей несообразительности:

"Ну как ты не понимаешь? Если он считает, что у него замечательный отец, то ему будет приятно, что не он один так считает. Ну а вдруг он думает, что у него неважный папа — профессия у него не такая, какой принято у мальчишек гордиться, и вообще он не похож на актёра Алейникова, а ему хочется только такого... А теперь он знает, что он сын САМОГО ИВАНОВА, что кто-то на земле — чужой, прохожий — знаком с его отцом и относится к нему с уважением, и к нему, Пете, с уважением, потому что он — сын своего отца".

Это была наивная шутка, но это была и мудрая педагогика. Он прекрасно понимал, что мамы, равно как и папы, бывают всякие и все-таки был убежден, что основа достоинства человека — родители.

Я не прибегаю к цитатам, не ссылаюсь на литературные источники. Мне хотелось, чтобы мои лирические размышления были моими, которые я доверяю читателям, и ни на какие глобальные выводы и размышления не претендовали, но именно в этом месте я не могу не вспомнить Чехова. В разные годы Чехов по-разному писал о своем детстве.

"...Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспомнить... Вспомни, — писал он брату, — тот ужас и отвращение, когда отец устраивал бунт из-за пересоленного супа и называл мать дурой..."

Но тот же Чехов в других, более поздних письмах: "Отец и мать единственные для меня люди на земном шаре, для которых я ничего, никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это дело их рук, славные они люди. И одно безграничное их достоинство ставит их выше всяких похвал, закрывает собой все их недостатки, которые могут появиться от плохой жизни".

Есть ли тут противоречие? С одной стороны, "страшно, тошно вспомнить...", с другой — "если я буду высоко стоять, то это дело их рук", а в другом письме — "для нас дороже матери ничего не существует в этом разъединственном мире".

Думаю, что нет никаких противоречий. В том-то и громадность Чехова, что он сумел мелкие обиды, бытовые ссоры, дурной характер отца и среди своих несдерживаемые проявления, отделить от главного — от высоких достоинств, которые утверждали и его, Чехова, достоинство. От того чувства благодарности, которое все равно, независимо от вспышек по случаю пересоленного супа, испытывал писатель к родителям. Он сумел понять их ("трудная жизнь") и простить, а простив — освободиться от претензий и счетов, увидеть за внешним, сиюминутным, их истинные ценности, которые ставили их высоко, "выше всяких похвал". И когда человек на потребу обстоятельствам отказывается от доброго имени своего отца, он прежде всего отказывается от самого себя, и ему уже никогда не восстановить свое разрушенное достоинство — он вырвал его корни, а новые на пустом месте не приживутся. Только свято место не бывает пусто, а предать отца, отказаться от него или от его фамилии — это святотатство. Мне скажут: а если отец убийца, вор, пьяница — ведь лишают родителей права ими быть? Лишают, но не самому — лишить, самому — решить. Мне по душе позиция Чехова, который не судит, "да не судим будет", который благодарит и любит отца и мать даже за "одно безграничное их достоинство".

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Маме было сорок три, когда папу забрали. Я тогда и думать не думала, что для женщины — это расцвет ее красоты, ее женской жизни и первые шаги прощания с ней. И когда спустя много лет мы пели:

"...Это значит — очень скоро бабье лето, бабье лето..." — только тогда поняла, что это ранняя осень, это бабье лето — когда все еще в цвету, а солнце, в красках, — пришло к маме вместе с холодным одиночеством, ночной тоской и утренними пробуждениями, когда нет сил начать день и нет права его не начинать. Но именно в эти годы она была особенно красива. Она не молодилась, но и не носила маску трагического пренебрежения к себе. Ее красота не опускалась до самоуничижения, но и не отпугивала неестественной в горе искусственной яркостью. Даже в то, тогда еще такое далекое утро, когда ей стало плохо и два веселых парня в мятых белых халатах навсегда унесли ее, она шепотом, еще улыбаясь, еще стесняясь непривычной для себя беспомощности, попросила: "Сотри мне крем с лица... душно... дышать нечем..."

Ее лицо с нежным румянцем, с ясными васильковыми глазами, ее золотисто- каштановые волосы, хотела она того или нет, невольно обращали на себя внимание. Ее называли "русской красавицей", на что она неизменно мягко отвечала: "Насчет красавицы не знаю, вам видней, но только я еврейка". Пожалуй, это был единственный случай, когда она напоминала о своем происхождении и тактично утверждала его. Но самым удивительным в те годы было даже не ее лицо, а стать — свободная, гордая осанка, прямая, не согнувшаяся под тяжестью лет спина. Это потом, уже под конец жизни, она чуть ссутулилась, хотя и старалась, как говорила, "держать спину". Но тогда еще издалека ее узнавали по спине.

Мамы уже не было в живых, когда я с группой журналистов попала в Соединенные Штаты... Я сейчас не об Америке, а лишь об одном эпизоде, который на долю секунды вернул мне маму. Было это в Лос-Анджелесе, сразу после рождества. По всему городу — от магазинов-гигантов до маленьких магазинчиков (где можно купить все, начиная от соли и кончая мотоциклом) — шла послепраздничная распродажа — большой "Сейл". И ты мечешься между гигантами и лавочками, проклиная "Сейл" и себя, которая, вместо того чтобы смотреть, обогащаться знаниями и впечатлениями, познавать страну во всех ее не раз описанных контрастах, сверяет размеры, высчитывает центы, в эйфории

меряет какие-то кофточки... "Сейл" — это наваждение, дурной сон в тропическую ночь, безостановочное катание на карусели.

Вот в таком состоянии я вышла из очередного "супермаркета", обвешанная разноцветными пакетами и пакетиками, содержание которых, как выяснилось по приезде в Москву, было лишено всякого практического смысла.

Довольно, говорила я себе, довольно всей этой суеты, беготни... В конце концов, ты женщина, ты турист, ты уважаемый журналист (в ту минуту мне искренне казалось, что это так). Вот видишь, накручивала я себя, незаметно набираясь уверенности, — видишь, перед тобой знаменитый отель Гордона, туда каждый при желании может войти, а желания у тебя хоть отбавляй, с желанием как раз все в порядке... Что? Ты плохо выглядишь, на твоем лице отпечатки "Сейла", ты похожа сейчас на предпраздничную москвичку, отстоявшую двухчасовую очередь... Тебе жалко последних долларов на чашечку кофе (кофточка — услужливо подсказал внутренний голос) и на твои любимые ментоловые сигареты (две кофточки — не унимался проклятый страж)... А нам плевать, грубо перебила я его, — мы тоже, знаете, не лыком шиты...

С этими словами я гордо вошла в знаменитый отель и должна сказать, что никто не заметил ни моей борьбы с собой, ни победы над собой, ни даже того, что у меня собственная, ни на кого не похожая гордость. Никто вообще не заметил моего появления, не обратил на мою персону никакого внимания. Но если "Сейл" — это безумие, разбросанное по всему городу, то отель Гордона — это безумие, сосредоточенное в одном месте, возносящее вас к небесам и тут же сбрасывающее в бездну низких соблазнов. Взлетев в открытой кабине лифта, как на подъемнике в горах, на вершину отеля, я смогла обозреть его разнообразный ландшафт — магазины, концертные и кинозалы, рестораны, теннисные корты, сады, катки, бассейны... А сквозь них, вокруг, через, под, над, в середине, сбоку и прямо — ручейки, озера, заливы и проливы бело-красных, зелено-голубых, золотисто-бежевых, черных, матовых, прозрачных, каких хотите: к глазам, к губам, к шляпе, к зонтику, к настроению, к мироощущению — всевозможных баров и кафе. В толстом, не по сезону теплом пальто, в сапогах, которые давно натерли ноги ("Туризм — это обувь" — еще в Москве говорили многоопытные "вояжеры", но что нам чужой опыт, пока мы не набьем собственные мозоли!), обвешанная пакетами и пакетиками, я чувствовала себя в этом раю как в кромешном аду. Не помогли и собственная гордость, и то, что нам плевать, ибо мы — вразвалочку, и то, что журналист и женщина, — не помогло ничего. И тут я вспомнила, как мой

первый редактор любил повторять, что главное в нашей жизни — это воспитание воли и одновременно характера. Мысль не новая, но если вспомнить ее вовремя, очень полезная. Мой бедный редактор так никогда и не узнает, как он помог мне почувствовать себя "белым" человеком в Лос- Анджелесе, в знаменитом отеле Гордона.

Уже у самого выхода я оглянулась и увидела то, чего здесь не увидеть было нельзя, — очередное кафе в стиле не то рококо, не то барокко, мне уже было все равно, ибо я решилась. Правда, белое дерево и красный бархат не гармонировали ни с цветом моего лица (серым от усталости), ни с цветом пальто, но... отступать было поздно.

Через секунду, спасибо учителю, я сидела на полукруглом мягком диванчике, а еще через секунду передо мной возникла красно-белая (пандан обивке) чашечка кофе, и красный язычок зажигалки вспыхнул, прежде чем я успела поднести сигарету к губам. Я закрыла глаза, вытянула гудящие ноги... За белым роялем пианист, не обременяя слух посетителей, точно для себя, наигрывал вальс Шопена, и я вспомнила, как папа немного театрально, с пафосом провинциального актера декламировал:

"...Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж..."Я уже совсем было расслабилась и почти забыла про джинсы и кофточки... Как вдруг...

Как вдруг я услышала очаровательное щебетанье. Отключившись и предавшись воспоминаниям, я и не заметила, что рядом со мной на диванчик кто-то сел. Диванчик был достаточно большой, он как бы опоясывал несколько маленьких столиков — так придумал Гордон, так он "видел" это одно из сотен в своем отеле-кафе. И конечно, никак не мог подозревать, что именно это решение лишит какую-то миллионную посетительницу возможности хоть на минуту забыться, расслабиться, стать женщиной, "белым" человеком в этой свободной, как они уверяют, стране. Ошибся Гордон, и всему виной овал. Чуть скосив глаза, я увидела спину очаровательной (судя по голосу) щебетуньи, которая и щебетала-то на непонятном мне французском языке. Ну почему, почему я не учила языки?! Почему не слушалась маму, которая знала и немецкий и французский, а я упрямо не хотела знать никакой другой, кроме русского, — не из-за того ли, что смотрела свысока...

Неожиданно, точно читая мои мысли, щебетунья с французского перешла на немецкий. Я опять скосила глаз — широкополая шляпа закрывала лицо собеседницы моей соседки, но это было не важно. Я не могла оторваться от ее естественно

прямой, обтянутой мягкой коричневой тканью спины. Даже не голос, не напевная картавость языка Гейне и Гете, а именно эта благородная линия спины протянулась в далекое, почти забытое, и я увидела другую спину, так похожую на эту, за которой шла, стараясь не отстать, по скользким ступенькам крутой лестницы, ведущей на мост — длинный и горбатый от толстого слоя льда. Мост, переброшенный через пути подмосковной станции. Мост, по которому нужно было пройти — проскользить — и потом так же осторожно, чтобы не упасть, спуститься вниз с тяжелыми сумками и ящиками посылки. Раз в месяц и только отсюда, выстояв многочасовую очередь, мы отправляли ее по адресу, где не было ни города, ни улицы, а был номер, и еще номер, и только потом — фамилия. Как же скользко было в тот день — мост не посыпали песком, а держаться за перила было нечем: в руках драгоценные сумки, содержимое которых продумывалось и собиралось целый месяц. Было совсем раннее серенькое утро, только-только рассвело. Мы уже поднялись на мост, и неловко балансируя, медленно двигались по вздыбленной ледяной горке. И вдруг я увидела, что спина мамы как-то странно накренилась, и в следующую секунду мама рухнула на лед, и, если бы не две быстрые, ловкие руки маленького в сером ватнике человека (больше я ничего о нем не знаю), она на моих глазах соскользнула бы вниз. Но один из ящиков, неумело и наспех сколоченный, ударившись о твердый лед, развалился, и оттуда посыпались вниз, под стремительно идущий поезд, вызывающе желтые в этой кромешной серости начинающегося дня, точно падающие с невидимого дерева, пупырчатые лимоны — подарок папиного друга из солнечной Грузии.

Я не боюсь, что читатель упрекнет меня в литературности, — то, что бывает на самом деле, всегда кажется выдуманней выдуманного. Но что поделаешь, если именно здесь в красно-белом барочном кафе, под звуки Шопена, которого, точно для себя, наигрывал пожилой, в черном фраке, пианист, не в силах оторвать глаз от спины женщины, лица которой я так и не увидела, я вспомнила тот мост и желтые лимоны на грязном снегу. Быстро расплатившись за невыпитый кофе и сигареты, ссутулившись и тяжело волоча ноги, я уходила из отеля Гордона. Уходила навсегда.

* * *

Я всегда гордилась маминой красотой, жалела, что больше похожа на папу, но комплексы не мучили меня, и когда мне говорили: "Какая у тебя красивая мама", — я про себя думала: а какая еще у меня могла быть мама — только такая, другой я себе не представляла. Я прекрасно понимала, что мама должна

нравиться, что в нее должны влюбляться. Но все это, как говорится, чисто умозрительно, а в реальной, сегодняшней жизни был папа, и только папа, даже тогда, когда его не было, ибо я хорошо изучила биографию жен декабристов и считала, что женщина должна идти за мужем, а если такое невозможно, она должна его ждать. Вот так — должна, обязана... И все-то я знала, на все наперед у меня были готовые решения.

Закончив юридический институт, я решила, что юристом не буду. Причин тому было много, но главная — я хотела стать журналистом. Я уже попробовала этот сильнодействующий наркотик, вкусила обманчивую сладость собственного напечатанного слова, игра с которым на бумаге затягивала в свои иллюзорные возможности. Первый напечатанный в центральной газете очерк назывался "Зачем инженеру Чайковский?", что дало повод моим друзьям еще несколько лет спрашивать меня: "А действительно: зачем?" Тогда были в моде диспуты о физиках и лириках, тогда проблема духовного развития казалась самой животрепещущей, панацеей от многих бед. Так или иначе, благодаря "смелой" и своевременной постановке вопроса, меня, юриста по образованию, пригласили корреспондентом в новый журнал — позвонили по телефону и пригласили. Такое было время. Но Чайковский сыграл в моей жизни двоякую роль: с одной стороны, помог войти в профессиональную журналистику, с другой — долго не отпускал от себя, ибо меня считали специалистом по музыке (что было глубокой ошибкой) и поручали задания, впритык с нею связанные. Я же тогда мечтала об экспедициях в тайгу, о полетах за Полярный круг, о передовых стройках, в которых палатки, дожди, снегопады... Трудности, романтика буден, "фантастика" дальних дорог... А вместо этого брала интервью у начинающего композитора или руководителя детского хора какого-нибудь московского Дворца культуры.

Но однажды все-таки повезло — перед самым конкурсом имени Чайковского мне доверили беседу с "корифеем советской школы пианизма" (так сказала моя заведующая, которая любила награждать деятелей культуры характеристиками типа "корифей", "аксакал", "основоположник", "родоначальник", "рулевой", "флагман" и т.д.). На сей раз "флагманом" и "рулевым" оказался Генрих Густавович Нейгауз, который обедал в Киеве у моей бабушки и учил играть на рояле не чужую тетю, а мою маму. Знакома я с ним тогда не была и еще не знала, что мама была влюблена в него, а он "чуть-чуть" в нее. К встрече с "корифеем" я тщательно готовилась — надела ситцевое, с большим вырезом платье, в котором казалась себе очень красивой, туфли на самых высоких каблуках, причесалась в парикмахерской на Кузнецком.

О том, чтобы почитать, прикинуть, о чем говорить-то буду, я и думать забыла. Мне очень хотелось понравиться "флагману", о чьем обаянии ходили легенды и на концертах которого в консерватории я не раз бывала с мамой. Но мама никогда не заходила к Генриху Густавовичу в артистическую, почему-то всегда торопилась быстрее уйти...

Итак, Москва, лето, Садовое кольцо. Жара 33 градуса. Звоню в дверь, при этом считаю до пяти, чтобы не волноваться.

"Кто там?" — недовольно спрашивает простуженный женский голос.

"Из журнала... о встрече было договорено..." — с несвойственной мне робостью отвечаю я.

Дверь открывает закутанная в толстую шаль маленькая горбатенькая женщина.

"У нас грипп, — с гордостью объявила она. — На улице жара, а у нас... грипп".

Последнее уже без гордости, а с давним смирением, что в этом доме, с этим человеком — все не как у людей. Меня проводят в удлиненную пустую комнату, посередине которой, как в полусне, мерно раскачивалось кресло-качалка. В углу стояла узкая тахта-кушетка, на которой, как показалось сначала, никого не было. Я недоуменно посмотрела на свою спутницу.

"К вам пришли", — недовольно сказала женщина и, чихая, удалилась. В ответ раздались сразу три взрывных чиха, и кушетка зашевелилась. Из-под яркого, небывалого в те годы, знакомого только по романам Диккенса крупноклетчатого шотландского пледа высунулась сначала белая всклокоченная голова, а затем буро-красный нос "корифея", который выбегал на сцену Большого зала стремительной походкой юноши и, взмахнув белой гривой, еле прикасаясь к клавишам, словно вызывая к нам, в Московскую консерваторию, дух Шопена, начинал...

"Садитесь, душенька, и не обращайте на меня никакого внимания... — после чего он, не подымаясь, закапал в нос капли, которые стояли на тумбочке рядом с его тахтой-кушеткой, и весело спросил: — Ну-с, какие новости?"

Так началась наша беседа, где говорила больше я, чем он, потому что он умел спрашивать и слушать, а я тогда не умела ни того, ни другого. Судя по всему, ему до смерти надоело болеть и он был рад возможности поболтать и не спешил меня отпускать. Так, не торопясь, мы наконец подошли к тому, ради чего я сюда пришла, — конкурс имени Чайковского и советские его участники. Среди них был мой двоюродный, а точнее — троюродный брат, но у нас в семье что двоюродные, что троюродные — все едино.

И когда я, наверное, уже в десятый раз довольно настырно спросила: "А что вы, Генрих Густавович, думаете о?.." — Нейгауз кокетливо улыбнулся:

"Вы, душенька, похоже, влюблены в него..."

Мне ничего не оставалось делать, как признаться, что Г. — мой двоюродно- троюродный брат.

"Как брат?!" — удивился Нейгауз, хотя почему, собственно, он не мог быть моим братом.

"Потому что у меня есть тетя", — обиженно ответила я.

"С какой же, позвольте узнать, стороны?" — не унимался Нейгауз, явно заинтересовавшись моей родословной.

"Со стороны мамы", — с некоторым вызовом ответила я.

"Так кто же ваша мама?!" — вскричал Нейгауз с таким неподдельным интересом, как будто я сейчас открою ему неизвестные страницы личной жизни Жорж Санд.

"Моя мама..." — И тут я очень спокойно, совершенно забыв о бабушкиных обедах и маминой консерватории, назвала ему имя и фамилию моей мамы.

"Кто? Кто? Фанни?!" — вскрикнул он, как-то особенно легко и вальяжно произнося непроизносимую для нормального человека девичью фамилию мамы.

Предусмотреть дальнейшее было невозможно. Откинув царским жестом плед (как мантию или рыцарский плащ) и стремительно перейдя из горизонтального положения в сидячее (оказавшись при этом в откровенно сиреневой майке), он вознес руки к небу и красивым молодым голосом торжественно произнес: "Фанни... — дальше следовала невыговариваемая мамина фамилия. — Боже мой! Какая у нее была спина!!!"

Признаться, мне стало не по себе. С одной стороны, я испытала гордость за маму, чью спину запомнил "флагман" и "корифей". С другой — мне было неприятно, что этот сморкающийся и кашляющий старик так интимно вспоминает мою маму (хотя теперь уверена, он не вкладывал в свои слова того интимного смысла, который усмотрела в них я). Но папа только вернулся, и в этом давнем воспоминании Нейгауза мне почудилось покушение на их с мамой личную жизнь.

Теперь я часто думаю, могут ли дети воспринимать своих родителей не просто как мать и отца, а как мужчину и женщину, чьи отношения куда сложнее и непредсказуемее, чем нам, детям, того бы хотелось. В детстве, конечно же, нет. В детстве нельзя понять, а значит, и невозможно простить. Но в пятнадцать-шестнадцать лет, если не спешить, если позволить себе роскошь задуматься, — можно. Так мне кажется... У Гюго в "Отверженных" есть прекрасное выражение — "смиренная мысль", то есть мысль,

усмиренная состраданием и пониманием. Именно на своем опыте я поняла, как жесток наш юношеский максимализм, как порой больно бьет "высокая принципиальность", как сурова наша мораль по отношению к родителям и как снисходительна к нам, ее исповедующим. Прав был мой первый редактор, все тот же усталый человек, когда говорил, что "в жизни все не так просто". Действительно, ВСЕ не просто — это стоит запомнить, но не для того, чтобы не решать сложные проблемы (как это любил делать мой редактор), а для того, чтобы не упрощать сложнейшие, переводя их на язык простых чисел, сводя запутанную азбуку жизни к таблице умножения, где дважды два, хоть лопни, хоть тресни, всегда четыре.

Я никогда на прощу себе сурового взгляда, который приводил мою бедную маму в замешательство, заставляя краснеть, когда я замечала, что за ней кто-то ухаживает и ей это (господи, да как же иначе!) небезразлично. Чего тут было больше — моей собственной ревности или ревности за папу, — не знаю. Но понять, что она еще так молода и что прежде всего ЖЕНЩИНА, а потом уже учительница, хозяйка, наконец, мать, я не желала. Весь опыт художественной литературы, который как раз о том и говорил, что все не просто, ни в чем меня не убеждал, то есть ко мне лично, к моей маме отношения не имел.

Мама и сама была воспитана в традициях истинно высокой морали, она бы дождалась папу, чего бы ей ни стоило, но даже малейшие отклонения от стоической прямой вызывали у меня неосознанный ужас и безотчетный страх перед самой возможностью того, что я не допускала и чего тем не менее боялась больше всего.

Если бы я могла сейчас рассказать ей все, что с годами мучило и даже сейчас, когда пишу, не освобождает от вины... Если бы она могла сказать мне:

"Бог с тобой, я тебя прощаю!"

Рано утром школа. Ученик Ванякин, который изводил ее ненавистью к немцам и писал на доске — "Бей фашистов и жидов". Великий немецкий — шести классам 310-й средней школы, двумстам пятидесяти ее ученикам, из которых, дай Бог, пятнадцать хотели его учить, а еще пятнадцать не сопротивлялись. Немецкий — детям войны, для которых, как она ни старалась, он оставался языком врагов, и только через два поколения он стал просто иностранным языком, но мама тогда уже ушла из школы. И ночью, когда мы с бабушкой давно спали, она сидела, прикрыв лампу темной салфеткой (ведь в одной комнате), и проверяла эти тетради, которым не было конца.

Мама всю жизнь была профессиональной отличницей.

Добросовестность была стилем ее жизни. "Человек — это стиль", — любил повторять папа. Мама была олицетворением порядка и организованности. Быть может, любовь к немецкому языку привила ей эти чисто немецкие черты характера. Порядок в доме, порядок на работе, порядок (сверхответственность) в отношениях с людьми. Даже в ту последнюю ночь жизни, не подозревая, что идут ее последние часы, она, словно желая оставить мне в наследство свой порядок, аккуратно разложила по полкам принесенное днем из прачечной белье...

"Мама, ведь поздно... — рассердилась я. — Можно подумать, что ночью придет комиссия по проверке чистоты".

Она не ложилась спать, пока не приведет дом в порядок. Только сейчас я понимаю, что этот порядок помогал ей выжить, сохранить себя, удержаться психически и физически, когда внутри все рушилось, теряло точки опоры, не зная, за что удержаться, Вот она и держалась — за свой порядок, выстояла, когда жизнь валила ее с ног. Но она принадлежала к тому редкому племени педантов, которые — легкомысленные педанты. Точная во времени, она не считалась со временем, если гости, праздник, вечернее застолье, ночное чаепитие... Она встанет, как всегда, рано, никуда никогда не опоздает, ничего не нарушит в своих многочисленных обязанностях, но дух киевской богемы в юности навсегда остался вторым стилем ее жизни, прекрасно уживающимся с первым. В этом легкомыслии она была прежде всего очаровательной женщиной и оставалась такой до самой смерти. Но в ее легкомыслии была унаследованная от деда-талмудиста моральная устойчивость. Она исповедовала верность мужу не как мучительную догму, а как нечто само собой разумеющееся. Но возможен был не случай, а любовь к другому. Каким-то сотым чувством я это понимала и страдала, заранее страдала, что может нарушиться гармония нашей семьи. Отсутствие папы казалось мне таким временным и случайным, что я наивно каждый день ждала его возвращения, хорошо помня, как он говорил перед уходом: "Это ошибка... это какое-то трагическое недоразумение... не надо давать никаких вещей... я завтра вернусь". И хотя день вытянулся в годы, я все равно ждала этого завтра, которое исправит ошибку и вернет папу обратно.

И когда мама на встрече Нового года танцевала танго с красивым пианистом, я вместе со всеми восхищалась — какая пара! Но, не успев порадоваться, тут же осуждала, и мама, поймав мой насупленный взгляд, смущенно опускала голову — я отбирала ее праздник. Когда в доме появился обаятельный умный режиссер из театральной студии, мои эмоции сначала ликовали — с ним было интересно и весело и моя уставшая мама забывала

о Ванякине, о тетрадках, которые "росли" на подоконнике (письменный стол был отдан мне), о зимнем пальто, которого в этом году опять не будет. Но чем больше радовалась мама, тем решительнее сопротивлялись ее радости мои неуправляемые эмоции. И обаятельный режиссер со своими интересными разговорами очень скоро исчез из дома. И когда однажды я встретила его на улице, он сказал мне: "Все не просто, понимаешь?" Да, конечно, все не просто... Но не понимала.

Теперь — да, теперь могу, а тогда — страх и ужас перед возможной бедой. Ненависть к "болтуну" (еще вчера интересному человеку) и непонятный стыд за то женское, требующее своей жизни, которое я чувствовала в маме, когда приходил этот острый, увлекательный чужой муж. И только годы привели к смирению мой ум и продиктовали эти строки, на которые потребовалась вся жизнь, а здесь их всего ничего — три страницы.

* * *

Один пожилой человек сказал мне (до этого он видел меня всего два дня, а раньше никогда не знал), что я счастливый человек. Я рассмеялась — какое уж тут счастье.

"Вы счастливый человек, — настаивал старик, — потому что родители дали вам такой заряд любви, что вам его хватит надолго, надеюсь, до конца дней..."

Он не пророк, не гадалка. Правда, он умеет "читать" по руке (а это ведь не наука, а дар) и обладает обостренной интуицией. И все-таки я была потрясена его догадкой. Да, я жила в плотной атмосфере любви, а когда родители ссорились, страдала от этого больше, чем они.

Я тогда не понимала, что чем больше любит один, тем мучительней для него малейшие несовпадения, отклонения от его уровня, от высокого напряжения его чувства. "...Мои лирические провода такой высокой тяги", — писала Цветаева. Их напряжение не каждому дано выдержать. Я тогда не понимала, что любовь такой высокой тяги требовательна и наступательна. Что она всегда во всеоружии страсти, которая и возносит, и убивает, захватывая все пространство жизни другого человека, не оставляя суверенной территории для собственного "я".

Отец и по сей день в моих глазах — образец настоящего мужчины, и тот, кто выпадает из его образа, уже не тот, все равно хуже. Да, счастье, что я с детства знала, как можно любить, как можно чтить жену, беречь ее — глазом, словом, поступком. Постоянно утверждать в ней женщину, не терять в суете дней дистанцию между собой, мужем, и ею — женой, коронованной быть женщиной. Находить любые возможности, чтобы напомнить ей об этом, не унижая ни себя, ни ее не только Грубым словом, но

и тоном, способным ее обидеть. Я никогда не забуду, как отец вскакивал, когда мама появлялась на пороге, чтобы она, не дай бог, сама не сняла с себя пальто. Как, завидев ее с сумками из окна зимой, мчался в тапочках во двор, чтобы помочь. Как смотрел на нее, когда она надевала что-то новое (увы, это было не часто). Как не ленился поддержать, когда плохо выглядела, а он утверждал, не обманывая ни себя, ни ее, что эта бледность ей к лицу, что она еще никогда не была так хороша (что не мешало ему назавтра говорить то же самое с той же искренностью, потому что такой он ее видел). Как он ухаживал за ней, когда она болела, и, кажется, в эти дни любил еще больше. И как страдал, когда она сердилась, — он просто органически не умел ссориться и всегда первым извинялся и признавал свою не всегда виновную вину... И когда пел — он пел ей. И когда танцевал с ней, никогда не забывал с благодарностью поцеловать руку.

Да, я "заражена" отцовской любовью, но я "ушиблена" ею. Отец — моя гордость, но и моя беда. Во всем он был нормальным, обыкновенным человеком, но в любви он был уникален и, как все уникальное, неповторим. А я всю жизнь ищу ему подобного. Я постоянно сравниваю, вспоминаю и ушибаюсь об эти естественные несовпадения, о не те слова, не тот взгляд... Я взываю к другому, чтобы он был таким, как мой отец. А он — другой! И есть разум, чтобы это понять, но нет смирения, чтобы это принять. И когда я говорила маме: "Какая ты счастливая, что тебя ТАК любил папа", — она молча кивала, но что-то в ее лице настораживало меня. Что-то она недоговаривала, какая-то была в ее согласном молчании тайна. И только в последнюю ночь своей жизни она призналась мне, что Т А К — это тоже трудно, а иногда мучительно. А иногда жестоко, ибо ТАКАЯ любовь изгоняет из своих владений всех, кто мог бы ее отнять. А им, для такой любви, становится каждый. Вот почему в доме никогда не бывали бывшие мамины друзья, да и новых, своих, у мамы не было. ТАКАЯ любовь деспотична, даже у ТАКОГО доброго человека, каким был мой отец. Господи, как же все это было непросто!

И все-таки лучше, наверно, чрезмерность, чем пустота. Я думаю, отец был счастливым человеком. А мама... Теперь не знаю.

КОГДА МЫ УХОДИМ — КУДА МЫ УХОДИМ?

В детстве я была очень послушной, что вызывало умиление взрослых и насмешки сверстников. Когда в самый разгар игр меня звали домой, я, не канюча — "Ну еще немножко..." — сопровождаемая единодушным презрением ("маменькина дочка"), шла домой. Мне было обидно, что надо мной смеются. И тем не менее — просьба мамы важнее. Потом, уже сама став матерью, я много думала об этом. Почему, когда не пускали во двор, без истерики и таких обычных в детстве капризов оставалась дома? Почему, не вступая в утомительные дискуссии, шла спать, когда говорили: "Пора"? Не задерживалась у подруг, если знала, что ждут дома? Почему в школе — тройки за поведение, в институте — вечный "нарушитель", а дома... По-видимому, слушаться родителей было для меня нормальным, единственным состоянием. Даже бабушкино, в раннем детстве, безумное желание во что бы то ни стало накормить ребенка, на которого "страшно смотреть", — не без сопротивления, но тоже принималось. И бабушка, пользуясь моей неспособностью огорчать домашних, изо дня в день кормила меня ненавистной манной кашей.

"За маму, за папу, за дедушку..." В ход шли дяди и все тети, и, когда я упиралась и говорила: "Все, эта ложка — последняя", бабушка с неподдельным ужасом восклицала: "А тетя Таня? Неужели ты хочешь, чтобы она заболела?" Нет, этого я, конечно, не хотела. Тетю Таню я очень любила, но родных было так много, что их как раз хватало на полную тарелку. И, уже выскабливая со дна остатки, бабушка со вздохом говорила: "Ну, а теперь за меня, пусть я буду тоже "невроко "здорова".

После лета я возвращалась из Киева неузнаваемой. Двор единодушно кричал: "Жиртрест, две коровы съест!" Кто знает, может, именно моими стараниями в доме редко болели, а некоторым родственникам я обеспечила долголетие — сколько каш, супов и картофельного пюре было съедено за их здоровье.

Хорошо это или плохо — не знаю, только не помню случая, чтобы меня когда-нибудь наказали. За что-то, конечно, отчитывали, покрикивали — не без того. Мы жили не в оранжерейных условиях — значит, как теперь говорят, были и стрессы (тогда, правда, этого слова не знали), ссоры, конфликты, плохое настроение... Все, чему положено быть, — было. Но сколько стараюсь, не могу вспомнить унижения моего

достоинства — грубым ли словом, ударом, ядовитым замечанием. Рада бы (чтобы нарушить идиллию моих воспоминаний), да не могу. Не могу вспомнить "чулана", запертой темной комнаты, тюремного одиночества, которое наверняка испытывает поставленный в угол ребенок... Тюремного лишения сладкого (в детстве это как пайки хлеба, прогулки). Не было этого.

В доме, конечно, ссорились. Мама могла и наказать и накричать, но папа вообще не повышал голоса. "Тон делает музыку", — любил повторять он, а я и сейчас за ним повторяю, хотя, что поделаешь, не всегда выполняю. Его же "музыкальность" поведения редко подводила. В самые напряженные моменты он мог найти такой тон, который действовал куда убедительнее "крепких слов", без которых он умудрялся обойтись даже там, далеко от Москвы... В это трудно поверить, но и поныне живые свидетели — лагерные его друзья — уверяют, что за семь лет они ни разу не слышали, чтобы отец выругался.

Помню, еще совсем недавно, незадолго до смерти, мама пришла из магазина бледная, поникшая. Она села в коридоре на стул и долго, не снимая пальто, сидела, сжав руками сердце, точно пытаясь удержать его. Потом встала, сняла платок, скинула пальто на кресло (а не повесила, как обычно, сразу на вешалку) и подошла к зеркалу. Она давно поседела, и гладко зачесанные волосы не были такими густыми, как раньше, а глаза из синих превратились в блекло-голубые, как выгоревшие на солнце незабудки. Но она по- прежнему была красива. Ее "классический" профиль, серебряные волосы и гордая осанка делали ее, по всеобщему утверждению, похожей на "маркизу". Но в продуктовом магазине, в очереди за обезжиренной колбасой, какой-то тип, больно толкнув, не только не извинился, но на ее безмолвное недоумение отреагировал, как положено реагировать хаму: "Ну чего уставилась... тебе уже на тот свет пора, а ТЫ место в очереди занимаешь..." (Маме было шестьдесят семь, а выглядела она куда моложе). "И тогда, — дрожащим голосом продолжала мама, — я не выдержала... я сказала ему: "вы — дурак!"

Наверняка в детстве мне говорили про отметки и уроки, про то, что надевать надо и что надевать не надо. Но гораздо больше со мной общались — разговаривали. Рассказывали, читали, вовлекая в эти игры товарищей и подруг, которые хоть и дразнили меня маменькиной дочкой, но любили приходить к нам домой или гулять с моим папой.

Родители чувствовали, что дом не должен быть одиночной камерой, а двор — долгожданной свободой, и пытались соединить эти два, как кажется многим — несоединимых, понятия. Когда мы шли с папой в парк культуры, он не ленился

тащить за собой нашу дворовую команду — не двух, не трех, а, бывало, и двадцать человек.

Хорошо помню эти походы с папой в сады и парки, где всем все было поровну — и пирожки с повидлом, и мороженое с вафлями, и карусель, и чертово колесо... Он очень любил меня и, бывало совершал педагогические ошибки — первой вручал мороженое, или, видя мое нетерпение, "без очереди", раньше других усаживал в кабину какого-нибудь вертящегося колеса, или первой подсаживал в седло вожделенной для всех белой лошади на карусели. А потом с грустью признавался, что нарушил правило и "по знакомству" пропустил меня вперед. Спустя много лет я узнала, что одна из моих подруг запомнила, как на юбилейном, по случаю моего пятилетия, маскараде (я была в костюме снежинки, она — льдинки) папа выпустил меня на "сцену" первой, а она заплакала, потому что тоже хотела первой... И вот до сих пор не может забыть — так ей было обидно... Я бы рада была теперь пропустить ее, но поздно — мы давно не льдинки и не снежинки, да и папы нет с нами и никогда не будет.

Но то были издержки его любви. Зато сколько радостей он доставлял, когда шел с нами в театр, катал в зоопарке на пони, запевал на улице "А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер..." Мы подпевали ему и дружно шагали за ним, стараясь идти в ногу, хотя поспеть за ним было невозможно — он не ходил, он сам летел...

Но самыми любимыми были не эти походы всего двора, а наши с ним прогулки вдвоем.

В воскресенье, пока мама занималась уборкой — святое дело, которому никто не должен был мешать, — мы отправлялись с папой "в Москву", или, как он любил говорить, "в ГОРОД". Понятие "ГОРОД" было собирательное — Третьяковка, Исторический музей, улица Горького, "Артистическое" кафе в проезде Художественного театра, наконец, сам Художественный — все это и был ГОРОД, в котором у нас были любимые закоулки, дома, скамейки... Как сейчас, помню одну — а самом начале Тверского бульвара, где, устав, мы доставали приготовленные мамой бутерброды и, запивая их прямо из только что купленной бутылки виноградным соком, чувствовали себя на верху блаженства... Но самым любимым местом было конечно же "Артистическое" кафе в проезде Художественного театра. Но сначала — сам театр.

"В воскресенье мы идем в театр", — объявлял папа еще в понедельник, и не было ничего прекрасней этих многодневных ожиданий театра. В воскресенье рано утром начинались приготовления. Из шкафа доставался черный, для театра, почему-

то всегда новый, хотя годами один и тот же, костюм, долго выбирался галстук, хрустела в маминых руках накрахмаленная белая рубашка. Мы выходили из дома задолго до начала спектакля, потому что в театр, говорил папа, нельзя бежать, в театр надо идти. Теперь-то я всегда опаздываю и вбегаю в зал с последним звонком. А тогда театр и впрямь начинался для нас с вешалки. Мы входили в еще пустое фойе Художественного, и приветливые, какие-то мхатовские, гардеробщицы встречали нас как старых знакомых. Тут же предлагали программку, выбирали бинокль, рассказывали, кто сегодня играет и даже чем именно заболела Степанова, которую заменяет Гошева. Мы никогда, как другие, не шли в буфет до начала. "Надо спокойно сесть и сосредоточиться... надо успокоиться", — говорил папа, хотя я, как мне казалось, была совершенно спокойна. А вот папа действительно волновался, как будто это была его премьера или ему предстояло сейчас выйти на сцену. Мне всегда казалось, что после спектакля актеры смотрят только на него — с таким неистовством он аплодировал, возвышаясь ростом над остальными зрителями. Театр на всю жизнь остался для меня самым удивительным местом, которое не кончается, не обрывается с концом спектакля. "Нельзя после театра, — говорил папа, — бежать на трамвай или спускаться в метро. Надо посидеть, подумать, отпраздновать наконец этот день..." И вот тогда-то мы шли в "Артистическое" и праздновали вроде бы не свой праздник. Но... в жизни, говорил папа, всегда есть место празднику.

В ту ночь, когда за ним пришли, они с мамой вечером (Восьмое марта, праздник!) были в театре. Я ждала их, хотя была уже старшеклассницей и моя жизнь теперь не всегда пересекалась с ними. Но так повелось, что я не ложилась спать, пока они не приходили, а сейчас, когда выросла, тем более, потому что самые интересные разговоры происходили за вечерним, можно сказать — ночным чаепитием.

Помню, уже после смерти папы мне удалось на лето устроить маму с сыном в маленькой гостинице под Москвой. Мама тогда подружилась с администраторшей Анной Романовной, у которой в жизни только и была радость, что эта гостиница и ее, часто из года в год постоянные, обитатели. И пока было можно, пока гостиницу не поставили на "спецобслуживание", туда с маминой помощью стали наезжать наши, точнее, мои друзья, которые давно стали общими. Мама чувствовала себя хозяйкой этого не ее дома, ответственной за то, чтобы всем, кто приезжал, было хорошо. И вот однажды очередная гостья, впервые попавшая в этот, по уверениям мамы, райский уголок, встретила на станции

свою знакомую, от которой узнала, как здесь... УЖАСНО. Публика кошмарная, кормежка отвратительная, причем так дорого, что они с мужем вынуждены на ужин варить в номере гречневую кашу, природы никакой, вода с керосином, пляж грязный, лес вырублен, в кинотеатре одно... А навстречу им бежала моя мама. Что же ОНА сказала? Это рассказ моей подруги, и дальше я передаю его с ее слов. "...И бежит нам навстречу мама Фаня (так называли маму мои друзья). Глаза светятся, щеки пылают, в руках ключи от моего номера... "Женечка, — говорит, — как хорошо, что вы, наконец, приехали. Вы не представляете, как здесь прекрасно. Во-первых, какая здесь Волга — я часами сижу и смотрю. А какой пляж, ну прямо как на Алупке, — чистейший желтый песок. Лес совсем рядом, правда, не очень дремучий, зато какая сосна! А люди... Нет, Женечка, какие здесь симпатичные, приветливые, интеллигентные люди... А кормят как! Во-первых, вкусно, а во-вторых, очень дешево, мы с Сашкой укладываемся, нам хватает..." Та, которой все не нравилось и ни на что не хватало (а была она женой члена-корреспондента) посмотрела на маму с удивлением — она ничего не поняла. Да и где ей было понять?! Ей и в голову не могло прийти, что эта красивая, похожая на маркизу женщина впервые смогла поехать в Ленинград, когда ей исполнилось пятьдесят лет. Что она, закончившая два института, знавшая наизусть великих немецких поэтов, не только никогда не была в Германии, но и в Прибалтику попала под конец жизни и считала себя счастливой, что увидела наконец Вильнюс, и мечтала побывать там хотя бы еще раз. Что единственной ценной вещью в ее жизни были... шиншилла и серебряное кольцо с янтарным камешком. Что она всегда экономила на себе, но для гостей не было дома гостеприимнее и хлебосольнее. "Нищие, — смеялась мама, не разоряются..."

И вот теперь, когда я возвращаюсь в то и правда дивное место, я сажусь на ее скамейку на крутом берегу Волги, смотрю на скользящие по ней пароходики и говорю себе: "Прости меня, мама, что ты так никуда и не поплыла — ни вверх по Волге, ни вниз. Не видела Суздаля, Еревана, Бухары... Не прошла по улицам Варшавы, не побывала на родине Гейне, не добралась до Елисейских полей. И спасибо тебе, мама, за твою благодарность, за то, что не уставала удивляться всему, что видела, где успела побывать. И за моих гостей, которым ты днем и ночью открывала дверь. После концерта, и первых гастролей, и первых рассказов и статей будущие знаменитые и не очень знаменитые шли к тебе, а не к себе домой праздновать эти рождественские дни, эти триумфы и боевые крещения... И ты, почему-то никогда не устававшая, никогда, даже в два часа ночи, не застигнутая

врасплох, накрывала на стол и вместе с нами радовалась нашей молодости, нашим надеждам, и не было в твоей радости ни горечи собственного возраста, ни обиды на жизнь, которая тебя не баловала, ни просто сердечной усталости. А ведь устала, и сердце устало — как же мы этого не заметили?! Как отпустили, не удержали тебя?!"

* * *

Да, у них была удивительная особенность — во всем находить что-нибудь хорошее. Если плохая пьеса, то замечательные актеры... Если актеры не на высоте, то художник, по их словам, каким-то непостижимым образом спасал спектакль. Но бывало, что и режиссер, и актеры, и художник — никто не вытягивал пьесу или пьеса не вытягивала их... Тогда они почему-то обязательно встречали в театре знакомых, которых давно не видели и с которыми просто необходимо было поговорить, так что им повезло и все получилось как нельзя лучше, то есть все равно — хорошо.

Вот и в тот вечер — "получилось", потому что хоть и пьеса — хуже не бывает ("Зеленая улица" Сурова, кто сейчас о ней помнит, а кто вспомнит — содрогнется, что это "произведение" шло на подмостках МХАТа...), и актеры места себе не находили, и зрители в антракте уходили, и знакомых не встретили, зато после спектакля сразу попали в "Артистическое" и там замечательно посидели ("жалко, что тебя с нами не было"), и официантка попалась любезная — вот, положила в коробку пирожные...

В тот вечер мы особенно долго сидели, и папа вспоминал, как он стоял, бывало, ночью за билетами на мхатовские премьеры, а на "Дни Турбиных" даже две ночи, и в антракте ему показали автора — писателя Булгакова, и он не выдержал, подошел к незнакомому человеку, чего никогда не делал.

"И что, что ты ему сказал?" — нетерпеливо перебила я.

"Ничего. Ничего я не сказал... я только пожал ему руку, и мне показалось, что он понял, почему я ничего не сказал..."

А еще через час, когда мы наконец собрались спать, раздался звонок и кто-то вежливо сказал за дверью: "Проверка паспортов..."

И только через семь лет мы снова пошли с папой в театр, и все было, как всегда, как раньше и очень скоро мы узнали, что жил среди нас великий писатель Михаил Булгаков... Но только скоро ли и так ли уж все было, как раньше?!

* * *

Я их не обманывала, не притворялась, не придумывала липовые истории, потому что в этом не было необходимости, то есть страха перед ними.

Чего в детстве мы боимся больше всего: что накажут или что

не поймут? Наказание быстро забывается. Но вот когда не поняли... Когда ты им про Фому, а они... про Ерему. Когда объясняешь, доказываешь, иногда двумя словами, иногда сотней безостановочных, когда не можешь замолчать, потому что кажется, что не договорил, не доказал, не убедил... А кажется так не случайно: нет реакции, нет разговора, а есть, как в кабинете следователя, — "Ну и что... а дальше что... а потом что?" Не понимают. Значит, не слышат. Не умеют любить.

Я была не только послушная, я была избалованная. Только что понимать под этим дискредитированным словом, ибо нет такой книги, в которой черным по белому не было бы написано, что баловать детей очень плохо, хуже этого — только бить. Но баловать не значит выполнять любой каприз, несуразное требование, потворствовать жестоким, злобным выходкам... Баловать — помогать расти.

В детстве я была толстой и неуклюжей. Не умела ловко прыгать через веревочку, перелезать через забор, ловить мяч (нулевая реакция), подбрасывать ножичек так, чтобы он точно попадал в лунку. Чего только я не умела: небрежно, "вразвалочку" скользить на коньках, лихо спускаться с гор на лыжах — всегда падала, а так хотелось с шиком, как

другие, пролететь сверху вниз... Не умела шить платья, вязать носки... Чтобы до конца дорисовать свой портрет, должна признаться, что я картавила, но при этом маниакально любила... читать вслух стихи и примерно лет с восьми ни о чем, кроме сцены, не мечтала.

Меня настолько не смущало мое дребезжащее "р-р-р", что в старших классах я принимала участие во всех спектаклях школьного театра. Хорошо, предположим, лично меня этот малоприятный дефект не беспокоил, лично я настолько к нему привыкла, что к нему могли привыкнуть другие, что им мое "р-р-р" доставляло удовольствие. По всей вероятности, утонченно-эстетического наслаждения мои зрители не получали, но они, как выяснилось, тоже привыкли. И заслуга тут не в моем таланте — своей храбростью, своей независимостью от собственных недостатков я обязана педагогическому таланту отца.

Еще совсем маленькой девочкой, толстой и неповоротливой, но исступленно мечтающей танцевать, папа отвел меня в хореографический кружок, куда — "ЭТОГО РЕБЕНКА?!" — не приняли. Помню, папа очень подробно и вежливо объяснял сердитой даме — руководительнице кружка — смысл и цель детской художественной самодеятельности.

"Вы ведь не готовите солистов балета Большого театра, лауреатов международных конкурсов, не так ли? — деликатно

спрашивал папа, делая вид, что не замечает явного раздражения дамы. — Вы здесь для того, чтобы КАЖДЫЙ, кто хочет, мог научиться хорошо двигаться, получать удовольствие от танца. И если у человека возникло желание стать вашей ученицей — радуйтесь этому".

"Кто здесь человек? Кого я должна учить танцевать? — взвизгнула дама. — Эту толстуху? Потакать капризам избалованного по вашей милости ребенка?!"

Папа потом прозвал сердитую даму "дамой из Амстердама". И смеялись мы — потом. И узнали, что все ученики терпеть ее не могли — она постоянно внушала им, что они бездарны и что она, в прошлом знаменитая балерина, зря тратит на них драгоценное время, — тоже потом. А тогда было так стыдно, и я самой себе была противна, что прямо в платье, а дело было зимой, выбежала на улицу и побежала по Кировской. Я простудилась и тяжело заболела, но вместе с выздоровлением вернулось мое желание танцевать. К счастью, в это время "дама из Амстердама" покинула ненавистный для нее кружок в Доме инженера и техника (еще одно любимое наше место, куда по воскресеньям мы часто всей семьей ходили обедать, и об этих ритуальных воскресных обедах можно было бы написать отдельную главу). Итак, вместо дамы пришел веселый, красивый Владимир Сергеевич, похожий в нашем представлении на поэта, за что и был окрещен Ленским.

Ленский принимал всех, кто любил танцевать. А я любила. Ленский принял меня и стал моим вторым учителем танцев. Но первым все равно оставался папа, с которым даже на собственной свадьбе я танцевала свадебный стремительный, бешеный, нескончаемый фрейлехс, потому что мой муж так танцевать не умел, и никто так не умел, кроме папы. Он отдавался танцу с таким же вдохновением и воображением, с такой же беспредельностью темперамента, открытостью чувства, как и всему, что делал, чем был увлечен, во что (в кого) был влюблен.

С годами я похудела, и не было ни одного вечера в школе, а потом в институте, который бы обошелся без меня. Дело дошло до того, что в стенгазете нашего юридического института за мое пристрастие не к бальным, а к современным танцам, что тогда не поощрялось, меня заклеймили страшным словом "стиляга", а в журнале "Крокодил" появился фельетон "Сбацаем фоксик, Аллочка!". Это было первое и последнее публичное признание моих танцевальных успехов.

Так папа навсегда избавил меня от комплекса неполноценности, который, кто знает, к чему бы привел: не умея играть в мяч, легко съезжать на лыжах с горки и одним махом перепрыгивать через забор, я не реализовала свою мечту и, по-

видимому, все-таки способность — танцевать. Папа купил мне "снегурки" и лыжи купил, но никогда не заставлял делать то, к чему не было охоты или призвания. Зато там, где чувствовал — могу, хотя на первый взгляд это казалось абсурдом, — там активно помогал, борясь за право толстой танцевать, картавой — читать со сцены стихи.

В детстве исправить этот недостаток не удалось. Как ни странно, это случилось в двадцать лет, когда считается, что время безнадежно упущено. Папино упорство передалось и мне. Все еще мечтая стать актрисой, я вопреки научным догмам исправляла свое дребезжащее "р-р-р", доводя окружающих до истерики. Сначала упражнениями "т-д, д-т", из которых в конце концов вырвалось чистое, девственное "р", а потом удлиняя его (каждый день по пятьдесят раз) скороговорками про гору Арарат или противного Карла, который украл-таки у Клары кораллы, хотя серьезный консилиум вынес вначале заключение, что мой случай безнадежен. Но какой несчастной и абсолютно одинокой чувствовала бы я себя в школе, если бы поверила не папе, а себе; что слушать меня без содрогания невозможно. Я тогда никогда не решилась бы отвечать на уроках литературы и истории... Никогда не осмелилась бы развлекать класс всевозможными историями, которые, говорят, умела придумывать. Я бы только тем и занималась, что переживала свои недостатки, если бы не научилась знать и ценить свои достоинства. Ну и черт с ними, с этими коньками, провались пропадом эти черные тяжелые мячи, которые в моих руках достигают только одной цели — с любой подачи, в любую сторону — мимо, всегда только мимо или рикошетом назад — в нос, в очки (в очки — обязательно), только не туда, куда положено. Зато я могу что-то другое. Не такое, но — могу.

Нет ничего страшнее подросткового одиночества, не за что ухватиться, удержаться. Не к кому прислониться, некуда спрятаться. В этом возрасте, хорошо помню, маленький прыщик мог привести к серьезным, даже трагическим конфликтам с собой, с миром. Никогда так долго, так внимательно не разглядываешь себя в зеркале, как в эти годы. Никогда так не зависишь от чужих взглядов, слов. И никогда так не нуждаешься в словах, в любви, но именно ее-то больше всего не хватает, потому что кончается время сюсюкающей родительской любви, наступает время сознательной, когда самое неглавное, чтобы тебя накормили, одели... И одетой, и накормленной можно в эти годы чувствовать себя замерзающей на льдине, умирающей в пустыне, если никто не замечает, как тебе плохо. ПЛОХО, всегда плохо, потому что одиночество заложено в самом созревании. Оно

мучает по ночам кошмарами, оно вынуждает обороняться, даже тогда, когда никто не нападает. Оно требует постоянного, в мелочах, самоутверждения, и никакой здравый смысл тут не поможет. И кажется, что летишь в бездну, вязнешь в глубокой яме, но почему-то никто не замечает этого, проходят над тобой, обходя тебя... И тогда начинаешь думать: а кто ты такой (такая), чтобы тебе помогали, — ты урод, бездарность, коротышка или великан... Все плохо — и ноги не те, и нос длинный (или слишком короткий), и талии нет, и глаза "без выражения", и мозги не варят, и девочки (мальчики) не любят, а если любят, то совсем другие... И ты, как в дремучем лесу, зовешь, кричишь... Но никто не откликается. Считается — дурью мучается. А на самом деле — недолюбили, недодали: ни джинсов, ни сапог, ни модной куртки, хотя и это способно довести до тяжелых комплексов, если вовремя не предложить другие ценности.

В кружок художественного чтения меня с моим "р-р-р" не приняли, и папа сам учил со мной стихи, и я так увлекалась, что забывала о проклятой букве. И чем меньше о ней думала, тем меньше ее дребезжащее звучание замечали другие. И когда после войны уже сама пошла поступать в драмкружок, меня сначала вежливо попросили, — а потом все-таки оставили, и со временем некоторые даже находили "шарм" в моем грассировании.

Пусть я не стала актрисой — разве в этом дело? Но я стала (так мне кажется) полноценным человеком, который никогда не страдал от того, что не такой, как все. Я с детства не боялась злых насмешек и дразнилок, а на жестокое требование мальчишек сказать без запинки: "На горе Арарат растет крупный виноград" — кричала, картавя: "Дурррраки!" И даже чувствовала свое в некотором смысле перед ними превосходство, что могу сказать так, как они не могут.

Вот это и было "баловство", "потакание капризам", "неумеренная любовь"... Они оберегали меня от конфликтов не с миром, а с самой собой. Дальше этих конфликтов было предостаточно. Но я уже научилась не преодолевать их, а жить с ними. Но тогда, в детстве, родители могли разрушить меня установками, которые заведомо были не моими, ибо что хорошо для одного, вовсе не обязательно подходит другому. Но они этого не делали. Они исходили из индивидуальности маленькой девочки. Она была не хуже и не лучше, а другая, сама по себе, и это "собственное", которое есть в каждом, они не ленились разглядеть и развить. Вот и все.

* * *

И все-таки наступает этот день, когда мы уходим. Сначала незаметно, делая шаги-шажочки в сторону от них. Сначала на

цыпочках, а потом шумно, демонстративно... Сначала вполоборота, боком, а потом спиной... И как бы ни любили, как бы ни были привязаны к ним, все равно каш исход в самостоятельность, в независимость неизбежен. Но, чем больше они нас любят, тем мучительней наш от них отрыв, тем болезненней первые без них решения, первые от них тайны.

Дети рождаются дважды — от родителей и для родителей. Первый раз — чтобы потянуться к ним, второй раз — чтобы оторваться от них. И сколько бы даже самые мудрые, самые великодушные родители ни говорили себе, что это правильно, что по-иному и быть не может — расставание мучительно. Уход детей всегда — по живому, всегда — ножом по сердцу, сколько ни говори себе, что это нормально, природой установлено... Больно, все равно больно.

Любовь родителей неизменна, ни с кем не делима. Любовь детей легковесна и нестабильна. Они дробят ее, по кусочкам "отхватывают" — сначала для товарищей, потом для любимых. Пока не научатся понимать, что "Богу — Богово, а кесарю — кесарево"... Что никто не пострадает, никто не будет в убытке от того, что в первоначальной цельности, только еще более обогащенной опытом других чувств, сохранится их любовь к матери и отцу.

Но все это понимаешь не сразу, а сначала эгоцентрично, нагло утверждаешь право на собственное "я", иногда сильно преувеличенное, но тем не менее для самоосознания в какой-то момент необходимое. Только какими средствами его утверждать? В юности мы так далеко видим, что не замечаем, что происходит у нас на глазах. И что интересно, из нашего поля зрения прежде всего выпадают как раз те, кто ближе всех, — им, беднягам, первым достается от нашей самоуглубленности, равно как и устремленности в завтрашний день. Мы не замечаем, какой тоской "освобождения" от нас — непослушных, надоедливых, неуправляемых — сжимается их сердце. Нас не поняли? Предположим. Но что мы понимаем в них (про них), да и часто ли вообще задаемся этим вопросом? Принято считать, что родители обязаны понимать своих детей. Но разве дети, в свою очередь, не должны понимать (или хотя бы пытаться понять) своих родителей? Как же редко мы спрашиваем себя: "Что с НИМИ?" И как часто: "Что с НАМИ?" И когда нам плохо, и когда хорошо, настолько замыкаемся в себе или выходим из себя, что отмахиваемся ОТ них и берем ОТ них — но все это как бы БЕЗ них.

"А в чем дело? Что произошло? — не думаем, когда читаем в их глазах немой укор, слышим невысказанный упрек. — В конце

концов, сколько можно!"

Действительно, сколько можно: контролировать, проверять, указывать, напоминать, объяснять. Кто установит эту меру и как бы хорошо наперед ее знать.

Но я сейчас не о родителях, я о детях. Только став матерью взрослого сына, я по-настоящему поняла, как это больно, когда еще вчера плоть от плоти твоей, часть тебя, почти что ты сама, постепенно и закономерно отделится от тебя. И процесс этот — как хроническая болезнь в острый период: все обнажено, ноет, томит, бросает из одной крайности в другую. Болит то, что не должно болеть, что считалось абсолютно здоровым. Болит все, и не просто обидно, а с непривычки страшно, что от тебя закрылись, с тобой не поделились, не познакомили с товарищем (по рассеянности), не попрощались (по забывчивости). Мелочи? Конечно, мелочи, их можно понять и простить. Но больно.

Я была в восьмом классе, когда "ушел" папа. Это был как раз тот возраст, когда начинается второе рождение, — оно происходит помимо нашего желания. Я была, что называется, компанейским человеком: ради друзей, ради компании готова была бежать куда и когда угодно. И когда меня звали, хотя никакой срочности не было, или на минуту заходили и минута перерастала в часы, у меня не хватало ни желания, ни мужества сказать, что я занята, что нет времени. Нет времени на друзей?! — этого я не понимала и, надо сказать, так и не научилась "считать" время. Казалось, что все впереди, впереди... А впереди уже всего ничего.

Оглядываясь назад, я самой себе напоминаю девочку из стихотворения Агнии Барто, у которой "нагрузки по-немецки и по-русски... и драмкружок, кружок по фото", а ей еще и петь охота... Но мама не пыталась меня переделать, хотя понимала, что с таким характером немало нахлебаюсь в жизни. Останови она меня в моей неудержимой тяге к друзьям, к какому-то почти священному трепету перед сборищами, сообществами, товариществами, к бесконтрольному служению им, с полной отдачей (вся навыворот) и с бессознательным требованием отдачи, с трагедиями от несовпадений, несовмещений, с почти физическим ощущением пропасти, когда ты — все, а тебе — сколько могут, а могут не всегда столько, сколько ты ждешь, — останови она меня, и я была бы не я. Судьба, не исключено, была бы посчастливей, но то была бы чужая, надуманная судьба. Прокатная, не собственная биография. И мама правильно сделала, что не стала ломать мой "папин характер", закладывать искусственную программу в мою биографию. Это был мой опыт, его надо было выстрадать, пережить и дожить до сегодняшнего

дня, до этих строк, чтобы его осознать.

Мама считала, что я — "папина дочка". Ей казалось, что она потрезвее, пожестче, а на самом деле до старости сохранила ясную голубизну глаз, которая ослепляла людей светлостью и чистотой души, и эта чистота, эта предрасположенность к миру, к людям делали ее с годами еще прекрасней, ибо с возрастом лицо и впрямь становится зеркалом души. Так вот, поняв, что борьба с моей решимостью охватить своей дружбой если не весь район, то, по крайней мере, двор и класс, бесполезна, мама, чтобы не потерять меня, нашла самое мудрое решение и уже до конца жизни следовала ему. Она сказала:

"Твои друзья — мои друзья, наш дом — твой дом" (шестнадцать метров полезной жилой площади). С тех пор так оно и было: мои товарищи называли маму "мамой Фаней" и приходили к ней без меня, удивлялись, если ее почему-то не было на наших сборищах. И никому в голову не приходило сесть без нее за стол. Она сама незаметно исчезала, чтобы не мешать нам, но без мамы было хуже, и с годами, собираясь, мы категорически не отпускали ее.

С годами ее жизнь стала неотделима от моей. Она не убивалась, как некоторые матери, что вынуждена жить не своей жизнью, а дети все равно неблагодарны... Так случилось, что это и была ее жизнь, другой она для себя не хотела.

С того дня, как арестовали отца, она сумела стать моей ближайшей подругой и осталась ею навсегда. Но произошло это не сразу. В том возрасте, когда "нас не понимают", я не была исключением. Я тоже пыталась отделиться, самоопределиться, самоутвердиться... Я уже не была послушной девочкой, которой второй раз не надо повторять — хватало одного. Я могла быть резкой, вздорной, грубой. Говорить:

"Я хочу... я сказала... не мешай мне жить... довольно меня воспитывать... не вмешивайся в мои дела... сама знаю... сама разберусь... оставь меня в покое... мое время, мои друзья... я уже не маленькая... я взрослая..." Потерять дочь в таком обостренно-свободолюбивом, суверенно-отделенном состоянии очень просто. Сохранить, оставить с собой на добровольных началах — куда трудней.

В этот проклятый переходный возраст, который не разбирает, что хорошо, а что плохо, мы были с мамой на грани серьезных конфликтов, но она сумела сделать себя настолько необходимой мне и моим друзьям, что, когда ее не стало, я не знала, как жить. Она была всем в моей жизни, и вместе с ней ушло все. И это ВСЕ надо было реставрировать, восстанавливать... Но как?

Сначала я механически цеплялась за ее порядок, за то, чтобы

все стояло, лежало, занимало те же места, что и при ней. Мне казалось, что она вот-вот вернется и спросит — где это, куда девалось то... Но она не приходила. И тогда я поняла, что надо учиться жить без нее, но и с ней. Я давно не ставлю кастрюли в мамином порядке, не складываю белье в маминой последовательности. Но я постоянно, как и раньше, общаюсь с ней, продолжаю наш с ней бесконечный разговор. Как и раньше, я спрашиваю ее совета в делах, прошу пожелать "ни пуха ни пера", когда "иду на грозу" или гроза идет на меня... И мне кажется, она слышит, она рядом. И как в детстве, когда болела, я чувствую на своей горячей руке ее мягкую, прохладную, и прижимаюсь к ней, и прошу:

"Помоги мне, мамочка, посиди со мной, не уходи, пожалуйста, мне больно, мамочка, мне страшно..."

* * *

И все-таки рано или поздно мы обязательно уходим.

Теперь, когда я все это пережила, как мать я могу понять, почему так потерянно-трагически смотрел на меня папа, когда я впервые при нем закурила. Он не стал на меня кричать и сигарету не вырвал... К тому времени, когда он вернулся, я закончила институт и была, в собственных глазах, самостоятельным человеком. Но для него — все той же девочкой-восьмиклассницей, которую он семь лет назад оставил в ночь с восьмого на девятое марта. И когда я закурила, ему, наверно, показалось, что он снова теряет меня. Он вернулся ко мне в мое отрочество, а перед ним стояла молодая женщина, которая, закуривая, не утверждала свое право делать, что ей вздумается, а привычно курила. В нашем юридическом институте все курили, и это успело стать дурной привычкой, но для папы это было прощание с той дочкой, с которой он играл "в магазин", и с той, с которой читал "Жили три друга-товарища в маленьком городе Н., были три друга-товарища взяты фашистами в плен...", и с той, с которой пел "Сильва, ты меня не любишь..." И был потрясен не тем, что курю (хотя терпеть не мог курящих и папиросы, которые мы посылали ему в лагерь, отдавал товарищам), а тем, что УХОЖУ. Что никогда уже не вернусь той, какой он меня знал, а вернусь другой, которую ему предстоит узнать. И неизвестно, КАКАЯ ОНА. И еще неизвестно, будут ли они друзьями, да и захочет ли теперь дочь дружить со своим отцом.

Я не привыкла смеяться над папой. Но эта его трагическая реакция — он на глазах постарел, сгорбился, стал ниже ростом, ничего не сказав, вышел из комнаты, — честно говоря, показалась мне смешной. Что-то тогда произошло между нами, какая-то невидимая трещинка появилась в наших всегда таких

естественных отношениях. Чтобы не огорчать его, я больше никогда при нем не курила, но понять, что с ним в тот день произошло, смогла лишь много лет спустя, когда мой сын впервые закурил при мне. Вот именно это и произошло — расставание. Жуткая, разуму неподвластная тоска — мальчик уходит. Не догадка, а реальность того, что сын больше мне не принадлежит. Мне было жалко его неокрепших легких, но, признаюсь, больше всего мне было жаль, что он вырос, что наше (его) детство кончилось, что от него больше никогда не будет пахнуть творожком, а будет пахнуть разными чужими запахами, в которых с каждым годом мне все труднее будет уловить его собственный. И я, точно как папа, запомнила этот день трагического прощания с детством сына, со своим в нем незаменимым местом. Наступило другое время, и в нем мы тоже не разминулись, но оно было другое.

Удивительно, как наши дети повторяют наши истории, наши ошибки, а то и развивают, жестоко их обновляют.

Почему-то многие события в нашей семье связаны с Восьмым марта — и печальные и светлые. Весна несет обновление, а оно не всегда радостное, иногда лучше, чтобы не было никаких перемен.

Но в нашей семье инстинкт самосохранения всегда был притуплен, любовь к жизни делала неосмотрительными. Нас несло по жизни — в неведомое, в непредусмотренное, увлекал сам процесс. Вот так, именно в день Восьмого марта, мы отправились с моим будущим мужем, а пока — другом, поклонником, любимым человеком, назовите, как хотите — в кафе, где нам было головокружительно весело от музыки, весны и любви. Где показалось, что на свете есть только мы, а кому это хоть раз в жизни не казалось... Где мы валяли дурака от переизбытка чувств, молодости и сухого вина... Где мы задумались, загрустили, затихли, прижавшись друг к другу, когда маленький оркестр заиграл "Шагай вперед, мой караван...", а потом — "Затихает Москва, стали синими дали..." И когда мы опомнились, и вернулись в реальное, то Москва уже просыпалась и я поняла, что впервые нарушила данное родителям слово: где бы ни была — обязательно звонить. Важно было, не где я и что делаю. Важно было, как говорила мама, "дать о себе знать". А я не дала — ведь такая весна, и такой вечер, и столько манящих улиц в Москве... И, гуляя до рассвета по любимым нашим арбатским переулкам, я забыла о родителях, о том, что сходят, наверно, с ума, звонят сейчас в больницу Склифосовского: нет ли там их дочери — жертвы несчастного случая. Или обзванивают все отделения милиции — не стала ли я объектом преступления (естественно, не субъектом). Они могли предположить все самое

страшное, но только не самое простое: что я ЗАБЫЛА позвонить. "Не дала о себе знать" — значит, что-то случилось. Тогда я могла сколько угодно над этим смеяться, но когда мой сын, где-то задерживаясь, не успевает или забывает позвонить, всякий раз, исключая его забывчивость и рассеянность, я думаю только об одном — что-то случилось.

Я пришла в ужас, представив себе их лица после ТАКОЙ бессонной ночи. Просто позвонить, шутливо сказать: "Ах, я и не заметила, который сейчас час", или сочинить сказку про то, что все телефоны в районе, где живет моя подруга, испортились и все автоматы выключились... Нет, надо было сообщить им что-то радостное, что-то такое, что одним махом снимет их ночные кошмары, вернет нам прежнее весеннее настроение. И мы решили принести "на крыльях любви" ВЕЛИКУЮ новость — на рассвете она казалась нам подобной сообщению о жизни на другой планете. Разбудив верного друга, чтобы все как положено, в присутствии свидетеля (было шесть часов утра), раздобыв в буфете Курского вокзала бутылку шампанского, мы, давясь смехом, затрезвонили в нашу дверь... "Кто там?" — раздался глухой папин голос. "Проверка паспортов", — тупо пошутила я. На этом мое идиотическое веселье кончилось — когда папа открыл дверь, у него тряслись руки. За ним стояла мама, почему-то в пальто и в шляпе.

"Жива", — не спросила, а установила она. "Вот... мы... я... он. Это мой... муж, — пролепетала я, — познакомьтесь", — напрочь забыв о том, что они давно знакомы. И это был второй удар. Они еще не успели прийти в себя от пережитого за ночь, как я обрушила на них новую беду. Но почему — беду? Почему такой мрак, такое горе?! Нет, черт возьми, что случилось — ведь дочка собралась замуж, а не на тот свет... и, между прочим, не за первого встречного, а за любимого... и не случайно, не так, с бухты-барахты, а после долгих, как положено, встреч, как принято говорить, проверки чувств — год встречались, а не один день. Нет, прямо обидно, честное слово, — за шампанским ездили, человека с постели подняли, а тебя встречают, как будто ты им сообщила, что идешь не замуж, а в монастырь...

Мама, как человек более импульсивный, быстро взяла себя в руки и пошла на кухню — что-нибудь приготовить. "Как-никак помолвка, — натянуто пошутила она. — Хотя время для этого несколько раннее, чтобы не сказать — позднее: мы ведь еще не ложились". Но с папой творилось нечто странное — куда делись его гостеприимство, щедрая радость гостям, любовь к неожиданностям, к празднику? Как и в тот вечер, когда впервые увидел меня с сигаретой, он не произнес ни слова. Он точно не

видел меня и моего будущего мужа. Он сидел на диване, низко опустив голову, разложив на коленях большие, как у мельника Хаима, руки, и мертво молчал.

Вот так он молчал и тогда, восьмого марта сорок девятого года. Молчал всю ночь, пока они рылись в ящиках, изучали, не понимая, его чертежи, скрипели подошвами ботинок, под которыми жалобно похрустывали осколки разбитого цветочника, небрежно скинутого, чтобы не мешал, с буфета. И лишь когда ему предложили одеться, с трудом встал (у него отнялись ноги), поцеловал маме руку и хрипло сказал: "Прости меня, но я ни в чем не виноват..."

Но сейчас, сейчас-то почему он словно опять расстается с нами? И словно от меня ждет просьбы о прощении.

Стыдно писать, но тогда я только одно и поняла — что он обиделся, не более того. Наверно, он хотел, чтобы все было не так, ну, во всяком случае, не совсем так — не в шесть утра и не после бессонной ночи... Но когда мы разлили шампанское по бокалам (тем самым, из "Лебединого озера"), папа, конечно, сел с нами за стол, но в глазах была такая мука, что мне не то что замуж — мне повеситься захотелось. И я сказала... Господи, чего только я тогда не сказала — что это безобразие, что он испортил нам праздник, что я не каждый день замуж выхожу, другой отец радовался бы... у других дочки годами сидят, никто не берет, а тут...

Прошло много лет, и вот однажды мой девятнадцатилетний сын появился в доме с милой девушкой Мариной и сообщил, что они очень голодны и нет ли чего в доме "пожевать". "Пожевать" нашлось — в этот день я, как нарочно, "достала" сосиски и сделала картофельное пюре. Но что-то меня насторожило, что именно — поняла не сразу... Ну да, странный наряд сына — старые, в заплатках, джинсы, в которых ходить давно было неприлично, но других не было, пиджачок от костюма для выпускного вечера, из которого он вырос, и его длинные руки как-то нелепо болтались, не находя себе применения, и роскошный галстук из магазина "Мода Польска", который я лет пять назад привезла ему из Варшавы, со смехом предупредив, что это на СВАДЬБУ. "Ах, ну конечно, галстук... на свадьбу..." Я смотрела на сына с плохо скрываемой тревогой и одновременно с надеждой, что конечно же нет, что это глупость, материнская подозрительность. Сосиски тем временем сварились. "Нет, тут что-то не то", — окончательно решила я, когда они с неестественной быстротой и с насыщенным молчанием стали уплетать сосиски, запивая их водой из-под крана.

"Есть чай, — сухо предложила я и добавила: — С конфетами".

"Ну, это ты зря, мамуля". — "Мамуля" — это признак вины и неуверенности в себе, тогда как "Аллочка" означало бы, что все нормально, никаких проблем.

"Что зря?! — сурово спросила я. — Конфеты... зря?"

Сын неестественно захохотал, а его спутница покраснела еще больше.

"Не вижу ничего смешного", — сказала я, высыпая прямо на стол "Раковые шейки", что настолько растрогало сына, что он неловко, при этом рукава пиджака полезли к плечам, поцеловал мне руку.

"Что произошло?" — голосом нелюбимой учительницы спросила я.

"Ничего особенного, просто Марина забыла паспорт... а без паспорта, сама понимаешь, нельзя..."

"Что нельзя без паспорта?" — сообразительно переспросила я.

"Бракосочетаться", — выпалил сын и с облегчением вздохнул, потому что для него самое страшное теперь было позади, а для меня...

Я грохнулась на стул и в полный голос завыла. Сквозь слезы, задыхаясь от свалившейся на меня "беды", я кидала слова — что это все, что теперь конец, что между нами (?) все кончено, что у меня нет больше сына, что он поступил как вор (?) и мошенник (?)... что лучше бы он, нет, лучше бы я, нет, лучше бы мы вместе... Лучше я не буду повторять сейчас то, что тогда говорила. Но в тот момент мне казалось, что меня выбросили на мороз, оставили ночью одну в лесу, в котором я и днем боюсь заблудиться. Предана, брошена, покинута... И кем?!

"Прости меня, мама, — сухо перебил поток моего отчаяния сын. — Но что, собственно говоря, произошло? Ты ведь знала, что я собирался жениться... ты сама говорила: делай как хочешь, только сначала хорошо подумай... я так и сделал — хорошо подумал и женился. Ну, а то, что не сказал, не предупредил — так ведь это смешнее, неожиданнее, не так банально, не как у всех... ты ведь любишь сюрпризы и чтобы смешно — любишь... не на "Чайке" же с куклами в загс ехать... А потом, вспомни, как ТЫ замуж выходила... если бы мой папа был жив, он бы тебя не понял... нет, ты положительно испортила нам праздник..."

Да, я испортила праздник: не обрадовалась сюрпризу. Не расхохоталась веселой шутке — венчаться без паспорта. Не закричала: как все это прекрасно, как небанально, нетривиально, как нам всем повезло, что на свадебный ужин в доме нашлись диабетические сосиски и "Раковая шейка" к чаю...

Да, я оказалась такой же ЭЛЕМЕНТАРНОЙ матерью, каким замечательно элементарным был в тот вечер мой отец, что понять

тогда мне было не дано.

РОДИТЕЛЬСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ — прощание на дорогу, пожелание на дорогу, расставание перед дорогой... С ним мы покидаем отчий дом. За ним всякий раз возвращаемся. И когда они с нами. И когда их больше нет.

ДВЕ КОПЕЙКИ НА ЛЮБОВЬ

О том, что людям надо оказывать внимание, мне кажется, я слышала еще до своего рождения. "Большое спасибо", — говорил папа, когда повода для БОЛЬШОГО спасибо не было — так, для самого обыкновенного, а то и совсем маленького. Или — ну просто не за что: "Я вам очень благодарен". — "А чего это вы меня благодарите?" — удивлялся прохожий, который поспешно, не задумываясь, отвечал, что не знает, как пройти на ту улицу, о которой его спросил папа. "Ну хотя бы за то, что остановились, помочь хотели", — на него смотрели с недоумением, как будто подозревали в чем-то нехорошем.

В нашей тихой угловой булочной хлеб отпускала Варька-рыжая — женщина лет тридцати с осипшим, прокуренным голосом и всегда красными глазами. Варька с остервенением швыряла батоны и французские булки на дно сумок, а бывало, и мимо них. То ли ее раздражал покупатель как человек по другую сторону прилавка, то ли ей уже тогда было известно, что хлеб есть вредно, — не знаю. Но хорошо помню ее толстые с желтыми ногтями пальцы, которые впивались в розовое тело булочки, и та, беспомощно сжавшись, тыкалась носом на дно спасительной сумки. "Большое спасибо", — упрямо повторял папа, на лету захватывая авоськой плюшку, как бабочку сачком. Оскорбленная его неуместной вежливостью, Варька в конце концов не выдержала и рявкнула: "Вы что, надо мной издеваетесь?! Вы что мне все свое спасибо тычете... Вон жалобная книга... пишите, мне наплевать..."

Папа сказал, что жалобная книга ему не нужна, впрочем, спасибо, — и с сожалением посмотрел на пылающую от гнева и без того огненную Варьку. У двери он оглянулся и сказал Варьке: "До свидания". — "Псих, ненормальный", — прохрипела Варька.

Тут и я не выдержала: "Папа, ведь она вредная, противная, за что ты все время говоришь ей спасибо?" — "Привычка, — улыбнулся папа. — Привычка".

Надо сказать, что, унаследовав от отца эту "нелепую" привычку, я часто натыкаюсь на глухую тоску в глазах, а то и откровенную ненависть. Наверно, когда мы говорим хаму "спасибо", он прекрасно понимает, что заслуживает других, более знакомых ему слов, которые куда результативнее всех этих "интеллигентских штучек". Он вовсе не намерен меняться, и вежливость других для него раздражающе дискомфортна. Конечно, этими наивными, как учили в детстве — волшебными словами никого не исправишь, а то и вызовешь гнев и

неприязнь... Но... "людям надо оказывать внимание..." И я говорю — "большое спасибо", когда для него нет даже маленького повода, и говорю "здравствуйте", и говорю "до свидания", хотя никто не заметил, что я вошла, ни тем более, что ушла. В конце концов, кто-нибудь да улыбнется и скажет — "пожалуйста", и с теплотой встретит, и пожелает вслед всего хорошего, не подозревая, что это не моя, а папина победа, что это тот самый случай, когда человека нет, а дело его (суть его, дух его) живет.

Удивляло даже не то, что надо оказывать внимание, а моментальная реакция на это "надо". Женщина еще не успеет подняться в трамвай — папа уже вскакивает. Сама еще не поймет, как ухватить тяжелые пакеты двумя руками — а на их количество требуется как минимум четыре, — папа уже подхватывает ее сумки и авоськи, шутя, помогает справиться с их неуправляемым количеством. Если у него было плохое настроение, он не позволял себе перекладывать собственную хмурь на другого. Кто бы и когда ни позвонил, в каком бы при этом он сам ни был состоянии (болеет, не выспался, с мамой повздорил, на работе неприятности), — все равно моментально брал себя в руки и говорил, как всегда, приветливо и доброжелательно. Телефон в нашем доме звонил часто, наверно, слишком часто для не знающей праздности трудовой семьи. Но папа строго-настрого запрещал его выключать (это когда они жили с мамой в отдельной квартире — недолгая радость последних лет).

"А вдруг что-то случилось, а я, видите ли, отключился..." — и, вздыхая, прерываясь на полустрочке, шел на очередной телефонный звонок — один из многих, часто необязательных, но вдруг...

Телефон — постоянный враг моей и без того беспорядочной жизни. И я его выключаю — минут на десять, не больше, потому что мне, как когда-то папе, кажется, что именно в эти минуты кто-то рвется с бедой и не может прозвониться... Махнув безнадежно рукой, я включаю вилку в розетку — и сразу раздается требовательный звонок: как дела, что новенького? Я стараюсь держать себя в руках и вежливо отвечаю, что дела как сажа бела (юмор), а все новенькое — очень старенькое... Но... тон делает музыку..." — если я вовремя об этом вспоминаю...

О том, что "тон делает музыку", мне кажется, я тоже узнала в день своего рождения. Наверно, потому у меня на всю жизнь осталась обостренная реакция не на ЧТО сказал, а КАК сказал. Мелочи, мелочи... Смотреть видя, слушать слыша... До чего же страшно без них, без мелочей этих, до чего одиноко, холодно в протопленном доме, пустынно в переполненном.

Для меня и по сей день загадка, как он слышал, что нужен,

что зовут, а сам был далеко, иногда в другом городе. От бога ли эта обостренная интуиция или от гипертрофированной потребности оказать внимание — только телефонный звонок раздавался тогда, когда он был необходим.

"Как ты узнал?" — спрашивала я. "Ничего не знал. Просто подумал..."

Действительно, просто подумал... Нет, не просто, как с годами выясняется, уезжая в другой город, ежедневно "давать о себе знать". И не как-нибудь, а с веселой выдумкой, с фантазией, потому что и это "давание" требовало дарования. Он не ленился выискивать смешные открытки — с кошечками и собачками, с розово-сиреневыми влюбленными, пронзенными стрелами амура, а сбоку каллиграфическим почерком — бессмертные фразы: "Люблю тебя, как ты меня" или "Жду ответа, как соловей лета"... Я берегу эти открытки в той самой японской коробке из-под конфет. И сейчас, разглядывая их, смеюсь и думаю: и где он их только покупал, на каком рынке находил и как, наверно, сам смеялся, опуская в щель почтового ящика, заранее предвкушая наш смех. А ведь мог бы послать обыкновенную почтовую карточку — но это было бы слишком просто и слишком скучно...

Отец никогда не приходил домой с пустыми руками. Еще одно правило, в дом — свой ли, чужой ли — "с пустыми руками не приходить". Вот что он особенно артистически умел делать — это тратить деньги, приводя в ужас маму, которая была хозяйкой, и ей, как я уже писала, приходилось расплачиваться и за папину необузданную потребность. Он мог выйти из дома с двадцатью рублями, мог — с тремя: разницы не было никакой. Домой все равно возвращался с полными сумками и с одной копейкой (копейкой — обязательно). Только став взрослой, я поняла, как бедно мы всегда жили, но, сколько ни стараюсь, не могу вспомнить, чтобы в детстве говорили о деньгах. О том, как трудно они достаются, я догадывалась — видела, сколько они работают. Но деньги проживались, а не собирались, не откладывались ни на черный, ни на светлый день.

Родственники, дяди и тети, с осуждением говорили, что они не умеют жить. Но я думаю, что умели. Вот как раз ЖИТЬ они умели.

Уезжаю от них вечером к себе домой (сама — жена, мать, хозяйка, не очень хорошая, но хозяйка) — и нахожу в кармане пальто три рубля с записочкой — "Это тебе, на глупости". Папа любил "глупости", нецелесообразные, бессмысленные, как могло показаться, вещи. Но какой скучной была бы без них наша жизнь. У нас не было многого, что считается для жизни обязательным: например, очень долго, когда у всех уже были, — холодильника,

пылесоса. Стиральную машину, например, я до сих пор не соберусь купить... Но зато, сколько было замечательных "глупостей"! Устроить торжественный обед по случаю и без случая (повод всегда находился: хорошая погода, например, тоже повод) или всей семьей — в Большой театр, а в антракте — буфет с шампанским и нам, женщинам, коробку конфет — это пожалуйста, на это почему-то хватало...

Он не покупал внуку дорогие книги — из тех, что лучший подарок и запираются в шкафу. Зато сын хорошо помнит, как дедушка ходил с ним в один и тот же книжный магазин к продавщице Танечке. Для Тани всегда была припасена ее любимая ванильная шоколадка — не какая-нибудь, а любимая, и это надо было не полениться узнать, запомнить, чтобы маленький подарок доставил УДОВОЛЬСТВИЕ. Дело было не в том, как сейчас говорят: ты — мне, я — тебе — дело, опять же, было во внимании, в этой самой мелочи, которая не "за", а сама по себе.

Дружба с Таней продолжалась несколько лет, пока жив был папа. Прихода деда с внуком она всегда ждала, и, конечно, не шоколадка была тому причиной. Тане нравилось смотреть, как дед помогает внуку выбирать книжку, нравилось самой участвовать в этом маленьком спектакле — ей было интересно с ними дружить. Тогда еще детские книжки не были дефицитом, и Танечке не приходилось тайком доставать их из-под прилавка. Поход в магазин к Тане — еженедельный ритуал, который сын никогда не забудет. Это была его первая дорога к книгам, по которой дальше пошел он сам, но, оглядываясь назад, знаю — видит у самого ее начала высокого улыбающегося человека в неизменной шляпе, который машет ему рукой: мол, иди, не останавливайся... И он идет, но хорошо, что останавливается, задерживается памятью у того магазинчика, где их ждала с книжками-малышками круглолицая толстушка, которая больше всего на свете любила книги и... ванильный шоколад. В газетном киоске (папа специально не выписывал газет, чтобы рано утром самому их покупать), и в парикмахерской на Покровке, в "Артистическом" кафе у него были свои киоскеры, мастера, официанты, с которыми он дружил, оказывая им все те же знаки внимания, на которые не требовалось траты денег, зато требовались душевные взносы, а на них он не скупился. Уже после смерти папы они спрашивали меня: "А где ваш симпатичный отец, он был такой ВНИМАТЕЛЬНЫЙ?".

Теперь я часто думаю: как не хватает нам в жизни этих необязательных улыбок, этого нерасчетливого доброжелательства, этих ни за что, за просто так, добрых слов, а то и одного — и его бывает достаточно, а без него иногда

повеситься хочется. Как казню я себя за их экономию, за поспешное "потом поговорим", а достаточно было минуты терпения, чтобы поговорить сейчас, ибо потом не бывает. Теперь-то я хорошо знаю, что это такое — родительские ожидания звонков, слов, сочувствия... Умные люди говорят, что нельзя ничего требовать, а надо терпеливо ждать. Наверно, они правы, на то и умные, но иногда ожидание непоправимо затягивается.

Мне было шесть лет, а Жанке восемнадцать, и она училась на первом курсе в медицинском институте. Жанка — моя двоюродная сестра, которую я любила как родную, тем более что родных сестер у меня не было. (Потому и пишу о ней в этой книге — она из нашего ДОМА). Перед самой войной она приехала к нам на каникулы — веселая, хорошенькая, плясунья-хохотунья... Она успевала за день обегать четыре музея, а вечером попасть в Большой или МХАТ (для нее почему-то обязательно находился "лишний" билет), а ночью, не останавливаясь, обо всем рассказать, изобразить, спеть, насмешить и, поспав три часа, мчаться утром в очередной музей, потому что дней осталось... ничего не осталось, а она еще не была... нигде не была. Когда Жанка уехала, даже в нашем шумном доме наступила неестественная тишина. Во время войны мы нашли Жанку в Ташкенте — красотку, королеву медицинского института, похожую, как мне тогда казалось, на всех известных киноактрис. Я смотрела на Жанку с восхищением, потому что она была девушкой моей мечты, и не только моей, если судить по свите, которая ее сопровождала. И все-то на ней (в ней) было ладно, кокетливо и притягательно. И стройные, быстрые ноги в маленьких, как сейчас помню, черных лодочках, и косынка в мелкий синий горошек, с продуманной небрежностью повязанная вокруг шеи, и каштановые волосы, в естественной, непарикмахерской свободе падающие на плечи, и белый халатик, который она каждый вечер стирала и крахмалила, сидел на ней как элегантное вечернее платье... Жанка-юла, Жанка-хохотунья и говорунья, идеал девчонок, любовь многих мальчишек, которых она провожала на фронт, пока однажды сама не пришла прощаться с нами.

И стала Жанка фронтовой подругой... Сестрицей Жучкой, доктором Жанной, капитаном медицинской службы Жанной Львовной... По ее письмам я изучила географию Украины, Белоруссии, Польши, Венгрии и Германии. А уже перед самым концом войны в них появились аккуратные, выписанные красивым, четким почерком постскриптум — уважительно-вежливые, доверительно-родственные — с многозначительной подписью "Ваш Саша". Потом "наш Саша" стал сам писать нам, и

папа читал эти письма вслух, потому что "наш Саша" был остроумен, каждое его письмо было в стихах, за юмором которых он прятал свою к Жанке серьезную любовь.

А потом они появились вместе, и не было пары красивей. Саша оказался совсем "нашим Сашей". Придирчивые мои родители сказали Жанке, что он свой, родной, так что пусть она будет счастлива. И Жанка была счастлива, только недолго. Она уехала с "нашим Сашей" сначала на Колыму, потом в Магадан, где он, майор по чину, был начальником военного госпиталя. А через шесть лет, родив двух таких же красивых, как они, сыновей, Жанка вернулась с ними в Одессу, куда от медбрата Саши, санитара Саши, вахтера Саши приходили "скудные" алименты, а то годами не приходило ничего, и никто не знал, жив ли Саша. Сначала Жанка без детей еще ездила к нему, поверив уверениям "завязать", "бросить", "начать все сначала". Но проходил месяц, и он "развязывал", бросал не водку, а ее, и начинал все сначала — издеваться, глумиться... Бить. Поверить в это было невозможно — я тогда еще не понимала, на что способна водка, ее разрушительная сила казалась мне преувеличенной. И тем не менее это было так. "Наш Саша" — наш изящный, тонкий, изысканный, открывший мне Анну Ахматову, которая жила в Ленинграде на одной с ним улице, танцующий с Жанкой полонез в нашей шестнадцатиметровой комнате, — напиваясь, бил Жанку, Жаннету, фронтовую подругу, плясунью-хохотунью, которая прошла с ним весь фронт и по своей воле поехала не срок отбывать, а жить и радоваться жизни в Магадане и на Колыме.

В Москву она больше не приезжала, не до того было: надо было растить детей, зарабатывать на детей, воспитывать детей... После института я наконец сама поехала в Одессу. Жанка встретила меня на "своей" машине "скорой помощи", со своим "персональным" шофером Жорой и "личным адъютантом" — полногрудой, вытравленной перекисью, блондинкой Лизой. Она так и прошла со своим "экипажем" двадцать пять лет борьбы за человеческие жизни... Все ее большие и малые сражения, ночные и дневные наступления с короткими передышками, в которых, как на фронте, несколько часов тревожного сна, — и пошла жить-бежать дальше. От постоянного недосыпания и курения у нее рано появились морщины у глаз, но это была все та же Жанка, всехняя подруга, которая никогда не откажется заменить, подменить, срочно выехать на тяжелый случай, сделать укол соседке по двору, ночью измерить давление одинокому старику в их многодверной коммуналке, за которыми притаились всевозможные болезни, поджидающие возвращения Жанночки домой. Засыпая на ходу, она вскакивала в любую минуту, потому

что на кухне варился борщ, кипело белье, поднялось тесто для пирожков... И опять куда-то запропастились мальчишки, на соседней улице ждала больная, у которой хрипы, а у Жанки идеальный слух, легкая рука, веселый голос... "С нашей Жанночкой и умирать не страшно, — говорили соседи, — пусть она будет "невроко" здорова..." Всем с ней было весело, не страшно, легко... Только с самой собой ей было пусто, муторно и одиноко. Но тогда она еще это тщательно скрывала — закурит "Беломор", расчешет пятерней теперь короткие, "под мальчишку", каштановые волосы, проведет помадой по губам — и мчится жить дальше, вернее, давать эту жизнь другим, и все ловко, быстро, на полном ходу.

Иногда в отпуск, когда ребята пошли в школу, она все-таки приезжала к нам в Москву и носилась теперь уже не по музеям, а по магазинам, пытаясь реализовать длинный список необходимых всему дому товаров. Чертыхаясь и тем не менее огорчаясь, когда не могла выполнить чье-то поручение, например, купить недорогую хрустальную чешскую люстру для сестры тети, которая приехала к дяде... Как девчонка, радовалась, когда что-то покупала себе ("грешу, не имею права, Витьке на ботинки не хватает"). И тогда глаза ее сверкали, ноги выделывали прежние па, и она, уже сорокапятилетняя, кружилась по комнате и становилась прежней красоткой Жаннетой, похожей на французскую актрису Николь Курсель (вернее, та, о чем она, не подозревала, была похожа на Жанку), — после фильма "Папа, мама, служанка и я" мы ее иначе, как Жаннет Курсель, не называли.

Не так уж часто бывала я в Одессе, но при первой возможности рвалась туда, чтобы повидать мою Жанку, покурить с ней "Беломор", забравшись с ногами на громадную, во всю комнату, тахту "Лира", о жизни с ней поговорить, которая не очень-то нам улыбалась, но мы ее, жизнь эту, любили и, хохоча, рассказывали друг другу об очередных своих неприятностях, а бывало, и плакали — чего уж тут стесняться....

Она по-прежнему встречала меня на вокзале или в аэропорту на своей персональной "скорой", с тем же, теперь располневшим, черноусым шофером Жорой и ставшей совсем неподвижной, царственной Елизаветой.

"Привет, сестрица!" — кричала Жанка еще из машины, привычным жестом сдергивая с головы белую шапочку, под которой волосы с каждым моим приездом становились все то рыжее, то краснее (в зависимости от качества хны и басмы, а главное — времени, которое она на них тратила). Но голос тот же, девчоночий, и пачка "Беломора" в день почему-то не сделала

его осипшим. И носится с той же скоростью, и опять на двух ставках, и ночные дежурства, потому что за них платят больше, а Саша давно на инвалидности, алиментов от него почти не бывает — так, иногда десять — пятнадцать рублей, не больше... Вот Витька скоро закончит училище, пойдет в плаванье — тогда... все к черту, поеду на курорт... погуляю... только вы меня и видели... Но тут же вспоминала, что на курорт из Одессы ехать глупо — море под боком (хорошо, если за лето она два раза выбиралась на пляж), да и Ленчика еще учить и учить, так что с курортом придется подождать.

Рано утром, после ночной, она всегда ездила на самый дальний рынок — Привоз, где подешевле, и я не помню ее без тяжелых сумок — даже тогда, когда ей категорически запретили их носить. Не помню без суконок, щеток, тряпок, кастрюль, бака, корыта, где вечно кипятилось белье уже подросших, но от этого не ставших более аккуратными сыновей.

"Но, Жанка, так нельзя, ты убиваешь себя, они должны тебе помогать, они должны тебя жалеть, ты на них..."

Она сердито меня перебивала:

"Только не говори, что я потратила на них всю жизнь, а на что мне еще ее было тратить? Это я виновата, что выбрала им такого отца, так что давай не будем..."

"Ну хорошо, хорошо, ты в долгу, а они? Они ничего не должны? Два здоровых парня смотрят, как ты вкалываешь..."

"Пошла к черту, — злилась Жанка, прикуривая папиросу от папиросы. — Что ты мне мораль читаешь, сама такой будешь. Они меня любят. Когда я их прошу, помогают. Но зачем: когда я, слава богу, здоровая баба и мне проще сделать самой, чем просить, да еще натыкаться на отказ... Знаешь, обидно, уж лучше самой, так спокойней".

И они привыкли, что она сильная, что не умеет уставать, что ей скучно без дела. Что таскать тяжелые сумки, дежурить две ночи подряд, а после этого надраивать квартиру, печь им пироги, жарить любимые блинчики — все это норма для их Жанки, которую они действительно любили и дарили ей по праздникам подарки. В такие дни лицо ее светилось, и она заговорщически подмигивала мне: вот видишь, а ты говоришь... И я ничего больше не говорила.

И она привыкла. Привыкла лечить других, привыкла, что все кругом больны, — все, кроме нее, и потому долго не обращала внимания на собственные недомогания, запустила болезнь, которую если бы вовремя... Если бы... Но тогда это была бы не Жанка. Она настолько привыкла болеть за всех, что о собственной болезни и думать себе не позволяла. Она всегда бодрилась,

придумав себе стиль неутомимой и неистребимой, — так ей было легче, так меньше тосковала по необходимой женщине заботе, таком обязательном, в любом возрасте, внимании к себе. Но она бодрилась, делала вид, что все в порядке, — ей страшно было признаться, что она, в сущности, совсем одна. Что два здоровых парня, которых она, так рано потерявшая мужа, любила со всей ЕМУ не отданной, с НИМ не пролитой женской любовью, разрешали ей тянуть непосильный для женщины воз. Они были славные ребята —остроумные, красивые, легкие... Настолько легкие, что терпеть не могли обременять себя трудностями, тем более что Жанка так легко брала их на себя. Не очень напрягаясь, они вполне прилично учились — иногда хуже, иногда лучше, в зависимости от настроения, но особого повода для вызова в школу не давали — Жанка сама туда заезжала, чтобы спросить, не надо ли кому чего в смысле медицинской помощи... В компании за столом им просто цены не было — анекдоты, шутки, вполне одесский юмор... Нет, они были симпатичные ребята — признаться, я тоже их любила. Ну, а то, что Жанка — сумки, Жанка — уборка, готовка, Жанка — работа не по силам, что с ней не пропадешь, а сама пропадала... Так кто же это видел, она ведь молчала, ничего не говорила.

Только в последний мой приезд Жанка призналась, как тосковала от своего одиночества, забивая его работой. Как стеснялась сыновей и потому не разрешала поклонникам приходить к ней, а с годами и отказывать стало некому, никто особенно не рвался. Как по вечерам сидела одна перед телевизором, часто не видя, что по ящику показывают, потому что всегда ждала, всегда волновалась, где они, ее мужчины, которые никогда не приходили в обещанное время, а она, насмотревшись на "скорой" драк, катастроф, аварий, боялась, что с ними что-то случилось. А с ними ничего не случалось — просто не было двух копеек на телефонный звонок. И когда она, не выдержав, ложилась спать на свою громадную, в полкомнаты, тахту "Лира", ужин под белой салфеткой всегда ждал их.

Только в последний мой приезд она призналась, что неважно себя чувствует. Но по-прежнему работала на "скорой" и от ночных дежурств не отказывалась — но не спать после них уже не могла. И когда ее звали срочно сделать укол или измерить давление к одинокому соседу, у которого оно по-прежнему, вот уже сколько лет скакало ("Жанночка-розочка, Жанночка-цветочек, я вхожу в криз..."), она не вскакивала с прежней легкостью, а медленно подымалась, механически, без зеркала, проводила помадой по губам, зачесывала пятерней рыже-красные волосы, хотя раз в месяц добросовестно красилась и причесывалась в

парикмахерской, но все это без прежней радости обновления и затаенной надежды, что однажды откроется дверь, и войдет военврач в парадном мундире, и, протянув руку, уведет ее обратно в счастливую жизнь на... войне.

После операции ей строго-настрого запретили вести прежний образ жизни. Месяц или два она, как советовали врачи, берегла себя, но, быстро забыв о мерах предосторожности, благо какое-то время чувствовала себя лучше, опять ехала на Привоз, где подешевле, и, желтая от усталости, еле доплеталась с тяжелыми сумками домой. Но... папироску в зубы, волосы под косынку — и... суконкой по паркету, тряпкой по шкафам, одна нога на кухне, другая — у соседей. А мальчики, счастливые, решили, что все по-прежнему, что их Жанка молодец, что она сильная, что с ней не пропадешь. Птица Феникс, которая горит не сгорая, Ванька-встанька — упадет и опять подымется. И когда однажды она не смогла подняться, они растерялись. Они не на шутку испугались, потому что заблудились в собственной квартире.

Незадолго до смерти Жанка приехала в Москву. Это было Девятое мая — тридцать пять лет со дня окончания войны. Жанка наконец выбралась на встречу со своими однополчанами. В новом вишневом, к глазам, костюме, в тесных туфлях на непривычно теперь высоких каблуках, тщательно уложенная в парикмахерской — крутые завитки после свежей химической завивки, с орденом Красной Звезды, оттягивающим легкий шелк костюма, Жанка казалась чужой и официальной — не Жанка, а представитель высокого учреждения, делегат на сессию... Она очень волновалась, узнают ли ее "ребята", и от волнения становилась еще строже, еще меньше похожей на себя. Она точно окаменела от страха — не смеялась, не шутила, не рассказывала новые анекдоты. Стояла на балконе и курила папиросу за папиросой, отчего бледнела еще больше. Не пила, не ела, а только заглатывала таблетки, пытаясь унять надвигающиеся приступы боли. Я хотела ее проводить, боялась, что в таком состоянии она не дойдет до ресторана "Прага", где должна была состояться торжественная встреча, но она категорически отказалась: "Я сама..." Сама так сама. Опять сама. Уже на пороге она вдруг остановилась: "Может, не идти, а? Нет, ты скажи, узнают меня?"

"Узнают, Жанка, как тебя не узнать... Ни пуха..." — "К черту", — словно самой себе ответила Жанка и пошла к лифту твердым солдатским шагом, забыв о своих высоких каблуках. Узнают, подумала я, хотя секунду назад сама не верила своим словам. Не верила, что в этой высохшей, выбеленной пудрой, чтобы скрыть землистый цвет лица, завитой и отлакированной, с тяжелыми

веками, закрывшими ее когда-то большие, хохочущие, вишневые, как у нашей погибшей бабушки, глаза, — бывшие однополчане узнают свою Жаннету, которая танцевала с красавцем майором вальс в Будапеште, в Варшаве и в Берлине.

Но когда поздно ночью она вернулась, это была прежняя Жанка. Напряжения как не бывало, глаза смеются, волосы растрепались и приобрели прежнюю естественную непричесанность, в руках туфли ("сто лет не танцевала...") и охапка красных гвоздик.

"И Василий узнал, начальник штаба, и Куценко — красавец мужчина, а сейчас... Ты бы посмотрела, на кого он стал похож. Но сразу кинулся — "Жучка, мой танец первый!". А полковник Кторов поднял тост за меня... Знаешь, что он сказал? Нет, куда тебе сообразить, что сказал полковник, который больше двух слов вообще никогда не говорил. Нет, ты записывай, записывай, тебе это для очерка пригодится... А то все о других да о других... а ты обо мне напиши — и просто залилась от смеха, что кому-нибудь может прийти в голову написать о ней. — Ну, ладно, писательница, слушай..." — и замолчала.

Я думаю, что для нее это были очень важные слова, может, те самые, которых она давно ждала, и потому ей трудно было их произнести. "Он сказал... — Жанка закурила и опять надолго замолчала. — Он сказал, что хороших врачей на войне было много, но таких красивых, таких ни на кого не похожих женщин, как Жанна Львовна, он не встречал никогда... Нет, ты слушай, слушай, писательница, — по-видимому, от смущения повторяла она не свойственное ей ко мне обращение. — Потом он сказал, что был влюблен в меня, но где ему было тягаться с красавцем Александром... И тогда кто-то крикнул: "А почему этот гад не приехал?" — все зашикали, все давно знают, что с ним... Ну, а я заревела, и стало очень тихо, слишком тихо, потому что никто на фронте не видел, чтобы я плакала..."

В ту ночь я навсегда прощалась со своей Жанкой, потому что, когда через полгода примчалась, получив телеграмму, в Одессу, она не встретила меня ни на вокзале, ни в аэропорту. Никто не выбежал мне навстречу из "скорой", не крикнул: "Привет, сестрица!" Не промелькнул на перроне белый халат, не сверкнула вдалеке красно-рыжая шапка коротких волос. В чистой, словно к празднику прибранной Жанкиной комнате, на широкой, в полкомнаты, тахте "Лира" сидели, прижавшись друг к другу, два красавца парня и в полный голос рыдали.

"Мамы больше нет... нет... нет", — повторяли они, и страшно было смотреть, как в беспомощности и подлинном горе плачут ее мужчины, ее единственные мужчины, которым она лепила после

дежурства вареники с вишнями, тащилась на Привоз за синенькими, отбивала молотком отбивные, стирала, гладила и... ждала, всегда ждала....

Они были прекрасные мальчики — не обижали людей и зверей, не состояли на учете в отделении милиции, читали книги, рассказывали смешные анекдоты... Только им всегда не хватало двух копеек на звонок... И двух слов... И двух минут. Наверно, они думали, что есть две жизни, а она — одна.

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Казалось, что они навсегда. Даже подумать было невозможно, что их когда- нибудь не будет. Казалось, что родители — вечность.

В воскресенье кладбище напоминает парк. В воскресенье и праздничные дни. По центральной аллее ходят толпы возбужденных людей, похожих на экскурсантов, потерявших своего экскурсовода и потому решивших самостоятельно осматривать "достопримечательности". Центральная аллея — вывеска кладбища. Здесь соперничают память подлинная и память показная. Скорбь душевная и скорбь материализованная. Здесь стремление перевести красоту человека в памятник ему соседствует с потугами "переплюнуть" соседа, "отгрохать" такое... отчего за живущих стыдно, а тех, кто покоится под мраморными глыбами, — жалко. Почему-то кажется, что чем меньше любили живого, тем больше вложили денег в мертвого, как бы пытаясь количеством камня искупить количество своей перед ним вины. Около таких памятников о человеке не думаешь — больше о сумме, вложенной в память о нем. Есть на этой аллее даже памятник, отгороженный от людей металлической сеткой, покрытый белой слюдой полиэтилена.

Я всегда старалась пробежать мимо этой "клетки", в которой на черной горе серебрился бюст неведомого мне человека. А однажды не выдержала — остановилась. Издалека стертое лицо вблизи оказалось приветливым, сконфуженным, мягким и одновременно мужественным — покойный был летчиком, еще молодым, безвременно, как написали золотыми буквами, погибшим. И стало обидно за героя, при жизни, наверно, общительного, веселого, а теперь посмертно упрятанного за колючую проволоку. За что? Полная женщина в синем, в обтяжку, тренировочном костюме хмуро посмотрела на меня и сказала (приказала): "Проходите, здесь вам не музей". Впрочем, не мне судить — каждый скорбит по-своему.

Навстречу воскресному потоку людей бежит "обслуга". У них свой, как говорится, бизнес, своя работа. Кто убирает могилы, кто красит ограды, кто ставит памятники, а кто за ненадобностью их разбирает, если годами никто покойного "не навещал".

"На покойниках не экономят, — сказала мне тетка Полина с неизменной лопатой в руке и никогда не затухающей беломориной во рту. — А могилки, сама знаешь, могилки нынче подорожали".

Бригадир Гоша несется на своей тележке-коляске с гиканьем

и визгом, как разгулявшийся молодец на буланом коне: "А ну, посторонись!.." За ним всегда веселые, всегда подвыпившие его ребята — "взэмлюукладчики", как они сами себя называют. Перед входом на кладбище цветочниц нет — их разогнали "за спекуляцию", зато в цветочном магазине "шурует" полногрудая блондинка Катя, "Катерина великая" — как называет ее бригадир Гоша. Пользуясь безвыходным положением "прихожан", она продает цветы из горшочка... без горшочка — за двойную цену. И никто не жалуется — "на покойниках не экономят".

Я не люблю приходить на кладбище в воскресенье. В воскресенье и праздничные дни. Боюсь толпы, ее демонстративного здоровья, ее показной непричастности к смерти. Когда много людей и много глаз, невольно хочется спрятаться, скрыть от посторонних и себя, и свою беду, которая вдруг кажется неуместной в этом оживленном потоке...

Есть любопытные — им интересно. Есть равнодушные — пошли по случаю или по обязанности. Или так, погулять... Есть почетные гости — им показывают почетные могилы. А есть и такие (их все-таки большинство), которых никто не привел, — они пришли сами. И не только потому, что дата, годовщина, а потому, что наступает момент, когда необходимо погрузиться в кладбищенскую тишину, чтобы хоть на секунду вернуть прошлое, дабы ввергнуть себя в будущее.

В детстве мы не любим кладбище. Днем там скучно, вечером страшно. Сколько раз в книгах, да и в жизни ребята, чтобы доказать свою храбрость, вызываются на пари провести на кладбище вечером несколько часов, а потом рассказывают жуткие, до дрожи в коленках, истории о покойниках, которые выходят по ночам из своих могил... И даже в сказках, добрых спутниках нашей жизни, покойники всегда внушают ужас. Но я на всю жизнь запомнила сказку, где встреча с умершими — бабушкой и дедушкой — была светлой радостью воспоминания, а прощание с ними — горькой тоской, подарившей слезы необратимой потери. То была "Синяя птица" в МХАТе, на которую мы ходили с папой несколько раз. И всякий раз, когда Титиль и Митиль покидали дом бабушки и дедушки, я в слезах шептала: "Не уходите". Но дом на глазах погружался в голубоватую дымку ускользающего воспоминания. Страшно было не остаться в нем, страшно было покинуть его.

Никогда больше, ни в одном детском театре мне так наглядно, как тогда, в Художественном, не продемонстрировали не просто уважение к старикам, а нашу прямую к ним причастность, наш исход к ним, нашу бесконечную с ними связь. Именно тогда мне был преподнесен первый урок великой науки

— памяти. Памяти как главного условия "самостоянья человека... залога величия его...". Это потом я смогла прочитать и понять, что любовь и уважение к своим предшественникам возвышают и нас, потомков. А тогда не поняла — почувствовала. Не высказала — пережила. И, потрясенная, не бежать хотела от них, покойных, а к ним, воскрешенным памятью детей, вернуться.

Вот так, на детском утреннем спектакле, еще сама того не ведая, я познала истину, что мы не существуем сами по себе. Только тем и ценна наша жизнь, что она — звено в цепи, где до нас — наши прадеды, а после — наши дети и внуки. И еще на том спектакле я узнала, что смерть — не конец человека. Что-то остается в нас от них, ушедших, если сердцем и душой мы не будем отрываться от них.

Больше в детстве не помню ни книги, ни пьесы, где смерть была бы не страшной, а умершие — жизненно необходимы. А жаль. Жаль, что в наших детских книжках мы стыдливо умалчиваем о смерти. О том, что жизнь бесконечна, и каждый из нас заполняет паузу, чтобы не было остановки в ее непрерывном движении. Говори мы об этом побольше с детьми, может, меньше было бы взрослых, преувеличивающих значимость и собственной жизни, и самого себя. А с другой стороны, уже с детства человек бы понимал, что жизнь дана ему не просто так, что он не единственный ее хозяин, — мол, что хочу, то с этой моей жизнью и делаю: после меня хоть потоп. Ну, а до тебя? Был бы ты на земле, если бы и до тебя — потоп?!

Я прихожу на кладбище в будни. На узких дорожках, чуть в сторону от центральной аллеи, тишина и поистине вечный покой. И прежде чем подойти к "своим" могилам, я брожу по чужим "участкам", пытаясь вызвать из камня лица тех, кого никогда не знала и не узнаю, — мне кажется, я обделила их своим незнанием. Я хочу представить себе этих мальчиков, погибших в сорок первом, большеглазых, чубатых, толстогубых: от них остались только эти маленькие, на паспорт или комсомольский билет, фотографии, увеличенные в каком-нибудь затемненном фотоателье. Эти ребята не нуждаются в словах — за них говорят даты рождения и смерти. Их нет в этих могилах, и никто не знает, где они.

Теперь на памятниках не пишут посвящений, а раньше писали — длинные объяснения, за что любили, почему не забудут. Может, думали, что слова мобилизуют совесть, им доверяли больше, чем своему сердцу. А может, верили в чудодейственную силу слова?!

Есть памятники с молодыми лицами тех, кто умер в глубокой старости. И кажется кощунством, что дети чтили молодость своих

родителей, а от старости их стыдливо отвернулись. А есть прекрасные старики, и тогда невольно испытываешь благодарность к живущим, которые не скрыли от нас лик старости, не отретушировали страданье, которое пробивается с глянцевых фотографий. И все-таки думаю: нужны ли на памятниках лица? Было ИМЯ, была принадлежность к ФАМИЛИИ — вот что важно. Сумел ли человек выявиться — не лицом, а сутью? Сумел ли обогатить и тем продлить свой род, свою фамилию? Впрочем, у каждого народа собственные законы: пусть фотографии, пусть надписи — лишь бы не уводили они ушедших от живых, а к ним возвращали.

...Этого старика я заметила давно, лет десять назад, не меньше. Он возникал будто из-под земли (или с неба — не знаю) и, не произнося ни слова, стоял некоторое время рядом, не нарушая, но как-то незаметно вторгаясь в мое уединение. Потом так же молча уходил. Иногда наши глаза встречались. В моих было недоумение, даже раздражение. В его — извинение, что помешал, и одновременно — уверенность, что иначе не мог, что он просто обязан мне помочь, хотя я его об этом не просила.

"Ничего, ничего... Вы, пожалуйста, не беспокойтесь..." — тихо говорил старик.

Я заранее знала, что он скажет дальше, знала, что отвечу, и малодушно опускала глаза. Наступала тягостная пауза, и тогда он не настойчиво, а скорее робко спрашивал: "Вам не нужна молитва?" Это его хлеб, его на этом кладбище святое дело, и грех было отказывать ему. Но, колеблясь, мучаясь, чувствуя, что обижаю его (и не только его), я все-таки отрицательно качала головой. Старик не уговаривал. Он учтиво приподнимал шляпу, которую не снимал ни летом, ни зимой, кланялся — сначала могиле, потом мне — и, выбрасывая вперед палку, твердым шагом слепого, знающего каждую точку, каждый бугорок на дорожке, удалялся. Нет, он не был слеп, но ходил как слепой, запрокинув голову назад, глядя куда-то далеко вперед. Я смотрела ему вслед — на его прямую спину, на запрокинутую седую, в черной шляпе, голову, на развевающийся, всегда расстегнутый белый плащ.

Он часто подходил ко мне. С годами, не дожидаясь вопроса, я поспешно бормотала: "Спасибо, не надо". Он приподнимал шляпу и молча уходил. Иногда мне хотелось догнать его, остановить, объяснить, почему вот уже несколько лет я так упорно отказываю ему. Но если бы я могла это объяснить! Да и не нужны были ему мои объяснения — нет так нет. И вот однажды, когда он опять подошел и был в тот день, как показалось, особенно замерзшим и неприютным, я начала что-то быстро и несвязно бормотать: мол,

понимаете, мои родители... ну, вы понимаете... Он поднял руку, как будто хотел остановить этот неуместный поток слов. Ему и так все было ясно и, наверное, не хотелось, чтобы я доводила до конца кощунственную для него мысль. Но меня уже несло — я говорила о вере, о боге, о том, что у каждого он свой, что...

"Разве я спорю, — грустно улыбнулся старик. — Разве я на чем-нибудь настаиваю... Я очень уважаю ваших родителей и вашу веру..." — "Мою веру?" — "Дай вам Бог, — сказал он. — Пусть у вас будут большие радости, большая семья и очень маленькие неприятности... Дай вам Бог..."

На сей раз он резко повернулся и взмахнув палкой, быстро пошел по дорожке, и полы его плаща развевались, как паруса на сильном ветру, хотя было тихо и шел мелкий дождь.

Через несколько месяцев я спросила у тетки Полины: "А где старик?" — "Лазарь, что ли?" — "Может, и Лазарь, я не знаю, как его звали". — "Лазарь... Я видела, он всегда к вам подходил. Небось жмотничала, не брала у него молитву. — Она сказала это так, как будто я отказывалась от предлагаемого мне товара. — Хороший был старик, только бедный очень — работать не умел... Вон Изю видела, тоже из ваших. Так тот за горло возьмет, а от своего не отступится — даже одному православному свою молитву читал, да так душевно, что все плакали. Лазарь не такой, дурной ваш Лазарь, но мужик хороший. Помирает он и, видать, не выкрутится... Мы тут с бабами денег ему собрали, апельсинов купили, курочку... Он курицу любил, только ел редко... Изька ему, бывало, кричит:

"Вы, Лазарь, идиот, вы не умеете обращаться с клиентом!" И орет, визжит, по вашему ругается. Лазарь ему ни слова. А мне потом говорит (мы с ним вроде как подружки были): "Товарищ Поля, не надо обижаться на Изю, у него умерла единственная дочь, и он совсем один на этой замечательной земле..." А у самого ни кола ни двора — комнату родственнице какой-то отдал, а сам у Катьки в подсобке спал".

Больше я его никогда не видела. Рассказывали, когда умирал — просил похоронить на другом кладбище. Изя, которому недавно исполнилось восемьдесят лет, плакал и говорил всем, что этот идиот просто не захотел, чтобы он, Изя, прочел над его могилой молитву. Коллектив тоже обиделся на старика: помогали ему, кормили, никогда не обижали — и вот нате вам, нехорошо получается. Но мудрая тетка Полина все поставила на место. Назвав товарищей по работе своими именами, мне неизвестными, она, как утверждают, впервые в жизни разревелась, потом закурила "Беломор" и сказала, как отрезала: "Человек, можно сказать, полжизни на нашем кладбище прожил, так неужели ему

нельзя хоть на том свете поменять место жительства..."

Сколько времени с тех пор прошло, а я не могу забыть его мягкое, напевное: "Скажите, вам не нужна молитва?" И мое стыдливое, еле слышное: "Нет, спасибо, не нужна".

* * *

Во что же они верили, мои родители? Что даже в самые беспросветные минуты давало им силы жить? Правы они или нет — не знаю, но они верили в жизнь. Они исповедовали ЖИЗНЬ как великую награду, как чудо, как отпущенную им милость — жить. Все хорошее — подарок, требующий удивления и благодарности. Все горькое — необходимое испытание, которое не разрушало, а лишь укрепляло их веру. Когда отец тяжело заболел, он сказал: "Я еще не выполнил свой долг перед жизнью". Долг, который отдается, а не в долг берется. Не к себе, а от себя. "Жизнь, ЗА что ты мне дана?" — часто повторял он. Не НА что, а ЗА что...

Радоваться жизни — это не только получать от нее, а возвращать все, чем владеешь и чем еще будешь владеть. Радоваться — значит реализовать ее дары, из которых главный — любить... Любовь была сутью и формой их жизни. Любить друг друга, близких, друзей. Любить своего ребенка. Может ли любовь быть чрезмерной? Думаю, что любовь — единственная гарантия реальности будущего, не словесный, а человеческий в нее вклад.

Любовь их была безвозмездной и потому сама по себе учила любить. Нет, они не были идеалистами и не считали, что вокруг сплошь хорошие люди. Но первый посыл, первый порыв — доверие. Разочарование огорчало, более того — вызывало (хорошо помню) истинные страдания. Но эти страдания, как и те, которыми "одаривала" их сама жизнь, не приводили к бесконечным счетам с ней. Они не причитали: "И за что нам такое?" Не сетовали: "Когда же, наконец, это кончится?" Никому, даже мысленно, не мстили. Отец говорил, что обидчик уже наказан, что ему хуже, чем нам, — его мучает по ночам совесть...

Они и умерли, как жили: отец — на пороге праздника, мама — не успев через него переступить. В тот вечер пришли гости — как часто — неожиданные и, как всегда, — желанные. Уже все разошлись, а мы с мамой и любимой с детства подругой до поздней ночи сидели на кухне. Обычно сдержанная, не очень многословная, мама говорила не останавливаясь, как будто боялась что-то забыть, что-то не оставить нам из своего прошлого. Я до сих пор помню ее молодой, в ту последнюю ночь жизни, смех. Ее иронически-грустное:

"Девочки, неужели я так никогда и не увижу Парижа?" Ее застенчиво- мечтательное: "На наших вечеринках в Киеве Нейгауз всегда играл Шопена... Я была ученицей Нейгауза, ну, вы знаете,

и, конечно, влюблена в него, а он был влюблен во всех... ну и в меня... немного. А Пастернак читал стихи и тоже обязательно был в кого-то влюблен... Мы были такие счастливые, а время было таким трудным... Может, дело в климате? В Киеве тепло, а у вас здесь... всегда холодно".

Здесь — это в Москве. Она прожила в Москве сорок лет, да так и не согрелась, а я так и не смогла купить ей шубу.

На следующий день ее не стало.

А папа, папа... В тот вечер он ввалился в дом с подарками — через несколько часов они должны были уезжать с мамой к родным, в теплый Киев. Была весна, канун первомайских праздников, на Крещатике уже цвели каштаны, а в бывшем Купеческом саду начинал играть симфонический оркестр...

Потом мы обнаружили на шкафу подтаявшие конфеты, коробки с тортами из кондитерской в Столешниковом... Но его с нами больше не было.

Они не оставили после себя ни рукописей, ни изобретений. Разве что мамины планы уроков да сценарии школьных вечеров, посвященных Шиллеру и Гейне. От папы остались две школьные тетради в клеточку, датированные пятьдесят первым — пятьдесят вторым годами, исписанные до корки чужими любимыми стихами (записывал по памяти), и ни одной своей строчки, ни одного свидетельства своей жизни — только чужой. И еще справочниками по неведомому мне деревообрабатывающему оборудованию — он всегда сидел над ними ночами. Справочники были для служебного пользования, но, когда они выходили, отец с удовольствием дарил их друзьям, превращая и этот день в очередной повод для праздника. На одном таком справочнике он написал мне: "Моей дочке — мой скромный труд, в котором она ничего не поймет. Но ведь ТРУД".

Они ушли из жизни в разные годы, но в одном возрасте. Когда их хоронили, прохожие спрашивали:

"Кто умер-то, уж больно народу много?"

Кто умер? Нет, кто жил? И когда я теперь спрашиваю моих друзей, за что, почему они так долго помнят их, друзья отвечают примерно одно и тоже:

"Они у тебя были удивительные..."

Но в чем эта удивительность? Чему они, мои друзья, удивлялись? Я думаю — их естественности. Искренности. Прямодушию. Неуставанию самим удивляться. Удивляться всему — хорошей погоде (а вчера шел дождь), приветливому лицу, доброму человеку, способному ученику, моей новой подруге, всегда замечательным друзьям. Субботе, воскресенью, именинам, просто вечернему чаепитию — всему! Радоваться своей и чужой

радости. Даже тот, кто давно забыл покойного, у кого никогда не хватало времени подумать о нем, живом, даже он прибежит выполнить последний перед ним долг. Но почему не первый и не двадцать пятый, не один из многих, затесавшихся в длинном списке наших обязательных долгов перед живыми? Я запомнила, как мама говорила (без намека на иронию): "Я вся соткана из обязательств".

У родителей, мне кажется, чувство долга было врожденным, считалось чем-то само собой разумеющимся. Именно это, я бы сказала, гипертрофированное у них, чувство долга привело и меня к неоплатному долгу перед ними — к памяти о них.

Память — наш долг перед умершими. Как и всякий долг, он бывает обременителен, предъявляет свои счета, которые не всегда и не всем хочется оплачивать. А я им обязана всем — и тем, что живу, и тем, что люблю. И тем, что улыбаюсь сегодня солнцу, и тем, что не боюсь завтрашней непогоды. И тем, что, упав, встаю, и тем, что толкнувшего — прощаю...

Конечно, они шли на призыв чужой беды, но всегда казалось, что на призыв чужой радости они бежали. Это не значит, что они были бездумными оптимистами. Именно потому, что на собственном опыте слишком хорошо знали, как много горя в жизни, как вообще трудно жить, — именно поэтому они так радовались, когда на их улицу, и на ту, что рядом, и на ту, что совсем далеко, приходил праздник. "В жизни всегда есть место празднику!" — повторял до самого последнего дня отец, и находил это место, и располагался в нем, затягивая в круг праздника всех, кого только можно было затянуть. Не случайно с детства мы пели с ним: "Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг... Ты мой друг, и я твой друг..." И когда он шел после работы домой — веселый, упрямый, грудь вперед, голова назад, всегда с покупками, с цветами, с новостями, — создавалось такое впечатление, что в нашем переулке слишком низкое небо, а мостовая слишком узка для его размашистого шага. Вся наша дворовая команда бежала ему навстречу — и Нончик-пончик, и Ока из Марокко, и Шурка-капитан, и Юлька-смехотулька, и Герда-ябеда, и Алешка-король... Все любили его, все спешили ему навстречу... А он искал глазами меня — толстую, неповоротливую, которая всегда подбегала к нему последней. Но как же я была горда, что у меня такой отец, и как он был счастлив, что он мне нравится! И как была посрамлена в своем неверии в его жизнестойкость, в упрямую, всем чертям назло, прямоту спины, и главное — в любовь к нам, его женщинам, к которым он, после нашей долгой разлуки, не мог вернуться поверженным и униженным. Только глаза, когда вернулся, были

не его — в них, теперь уже навсегда, затаилась печаль. И как бы он потом ни смеялся, а смеяться он умел, как бы ни радовался моим первым статьям, моему сыну, которого любил с такой же неистовостью и безмерностью, как и всех, кого любил, — печаль осталась.

В тот день, когда не своей — чужой волей он уходил от нас и казалось, что жить дальше будет невозможно, урок мужества мне преподала мама. Помню, когда его увели (раннее мартовское утро), было еще совсем темно. Не говоря ни слова, мама достала из шкафа свой нарядный, для театра, черный костюм, белую накрахмаленную вставочку, какие тогда носили за неимением материала на целую блузку... Долго, с особой тщательностью, одевалась, долго, дольше обычного, пудрилась, мазала губы, приглаживала и без того гладкие волосы... А я, девчонка, смотрела на нее с неподдельным ужасом: как она может, ведь нет нашего папы, нашего Пипина, а она... мажется, пудрится... собирается, как на бал. Она собиралась в школу, на урок, куда никогда не опаздывала. Не опоздала и на сей раз, хотя я не отпускала ее. Сквозь слезы я кричала: "Ты предательница... как ты можешь?!" Она отстранила меня:

"Не могу, но... смогу. И так будет всегда, иначе мы пропадем". И так было всегда. И мы не пропали. Она верила, что настанет такой день, когда мы опять будем вместе и будем жить дальше. И этот день наступил — мы жили дальше, но как же страшно, что он не бесконечен, что у него есть свой обязательный предел. Как же он наступил? Как быстро я их потеряла.

Была глубокая осень, шел колючий дождь, народу на кладбище совсем не было. Кто-то закашлял рядом, я вздрогнула и поняла, что сижу давно, что скоро стемнеет — пора уходить. Ну вот, Лазарь... простите, я так и не узнала вашего отчества, вот вам моя молитва. Вы бы, наверное, сказали: "Дай вам бог!" А я бы, наверное, ответила: "Я постараюсь".

Я вышла на совсем пустую в тот день центральную аллею и вдруг, потрясенная, остановилась. Прямо на меня, подгоняемая холодом и дождем, не шла, а почти бежала довольно странная похоронная процессия. Четверо мужчин вприпрыжку тащили тележку с гробом. За ними, еле поспевая, трясся маленький оркестрик, на ходу извлекая звуки, отдаленно напоминающие траурный марш Шопена. За оркестром семенила небольшая группа прилипших друг к другу пожилых людей. А позади всех, громко всхлипывая, брел парень в толстом, ручной вязки свитере, в потертых (бывших) джинсах. И вдруг одним рывком он обогнал оркестр, пересек дорогу тележке и, повернувшись лицом к гробу, хрипло закричал: "Мамаша, да куда же вы? МА-МА-ША..."

С тех пор я не могу забыть его крика, его вечного, на все времена вопроса: "Куда?!"

Боль проходит, но память об этой боли остается, должна остаться, ибо нет у нас другой возможности вернуть к жизни тех, кому мы всем обязаны. И они возвращаются.

1984 г.

В СТЕНАХ И ЗА СТЕНАМИ

Алле Ефремовне Гербер — Лев Аннинский

Мы были такие счастливые. А время было такое трудное. Алла Гербер. Мама и папа

Подняв глаза от надгробий, она увидела человека, который предложил ей помолиться за упокой ее родителей. Она попыталась объяснить ему, что мама и папа были атеисты, нормальные советские атеисты. Он понял ее сразу. Она его — много позже, когда стала писать о своих родителях прощальный очерк и вдруг догадалась, что это молитва. Ни с какого бока религия не подступала к ней, послевоенной комсомолке — школьнице, студентке юрфака, журналистке-шестидесятнице, обретшей себя в Оттепель. Но в какой-то момент сквозь воспоминания детства и юности (а время было такое трудное) проступило запредельное. И дед-мельник с тяжелыми руками, когда-то определивший своим детям пути: в технику, в юриспруденцию, в медицину и экономику (но не в журналистику!), вдруг напомнил ей (и нам, читателям) праотца, намечающего маршруты караванам. И здоровенная, странная "ваза-лодка", подаренная прабабушкой на мамину свадьбу и потому оберегаемая в последующих поколениях, окликает в памяти времена, куда более древние, чем прабабушкины, то есть ассоциируется с Ковчегом Завета. И традиционные гренки, которые бабушка на скорую руку сооружает, чтобы накормить голодную студенческую компанию, вваливающуюся в дом без предупреждения (и, естественно, без приглашения), — тоже напоминают что-то заветное, щедро и негаданно излившееся на народ, пересекающий пустыню, — можно назвать это манной с неба.

Но религиозный контекст для очерка Аллы Гербер все-таки отдает умозрением (чтобы не поминать задний ум); непосредственно же все вполне вписывается в психологию послевоенных девочек и мальчиков, никакого старого завета не помнивших, строивших в своих мечтах новую жизнь под новым небом. Это было поколение людей, рожденных, чтобы жить в преображенном человечестве, поколение, живым перебравшееся через Великую Отечественную войну, — последнее поколение русских идеалистов, не знавшее, естественно, что оно последнее. Какие уж там родители! — это были дети Земшарного Человечества, не меньше. И счет отцам выстраивался у них вовсе не на том базисе, который Алла Гербер извлекает из словаря однокашников своего сына ("Шнурки — в стакане?" — "Нет,

слиняли": о, долгожданная свобода, когда без родителей можно делать что угодно!) Это все изобрели уже дети безвременья, будущие поглотители пепси. А их отцы-матери, "шестидесятники", из среды коих вышла Алла Гербер, задавали на послевоенных руинах своим отцам совсем другие вопросы. Почему коммунизм все еще не построен? Почему зла еще так много в людях? Почему вы не безупречны?

Разумеется, и "шестидесятники" были разные. Были комсомольские ригористы и были отчаянные жизнелюбы, которых ригористы изводили сарказмами: "Сбацаем фоксик, Аллочка!"

Слава богу, Аллочка сбацала. Пробилась сквозь общую дурь. И сложила такой реквием отцам, на какой те вряд ли могли надеяться по их чевенгурскому опыту. Гимн счастливым людям, только много лет спустя понявшим, в каком котловане они сидели, готовясь к штурму неба. Как отделить тут счастье от беды, как нащупать грани между несчастьем и везением? Дедушка-мельник зрел в корень, определяя своему сыну путь в инженеры. Но сын, всю войну делавший для фронта "Катюши" и севший после войны по доносу подлеца-управдома, мог ведь и не отделаться несколькими годами лагеря — шлепнули бы "без права переписки"! И дочь его за еврейскую фамилию могли бы отсеять в отборочной комиссии юридического института. И тогда "фоксик" был бы станцован не в студенческой, а в менее изысканной аудитории...

А все равно было бы счастье. Счастье — несмотря ни на что. Несмотря на времена, которые потом можно назвать немыслимо трудными, беспросветно- тоталитарными, провально-подлыми. "Времена не выбирают", — сказал поэт. А безвестный мудрец за века до поэта научил свой народ: ничему плохому не удивляться, всему хорошему радоваться.

Упрямое, демонстративное, подчас вызывающее жизнелюбие Аллы Гербер — это заклятье предощущению беды, встретить и выдержать которую душа должна быть готова каждое мгновенье. Это — самый точный контекст ее молитвы о родителях. Не контекст мировой религии, которая растворяет твою боль в тысячелетиях, и не контекст сказки, которую надо сделать былью немедленно, "или нас сомнут", но контекст истории, которая кровавыми контурами проступает сквозь благие намерения вождей и народов.

В стенах дома бабушка жарит гренки, здесь пахнет уютом, счастливое детство дышит в гнезде, свитом над пропастью. Это — в стенах...

А за стенами — там, на легендарной Дерибасовской, другую бабушку, привязанную к телеге, вот-вот поволокут в гетто, а за

телегой побегут ее дочери, которые останутся в Одессе, потому что не смогут бросить мать, а за ними — их дети, талантливые мальчики, победители математических олимпиад и чемпионы шахматных турниров. Они все погибнут в гетто. И их московская сестра, вместив катастрофу, найдет в себе силы сказать, что именно в этой страшной ситуации надо суметь жить дальше и быть счастливой.

Еще и "пожалеет обидчика". Толкнувшего — простит.

Я ищу в очерке Аллы Гербер полюс ненависти. Ну, вот хотя бы фигура того управдома, что "уплотнился" в их "жилплощадь", а потом написал на ее отца донос и упек того в лагерь, а сам победоносно пел по вечерам: "Ой, Галина, ой, дивчина"... Судьба отомстила ему: он лишился рассудка; по ночам он забирался под кровать и все прятался от каких-то преследующих его врагов... Заметьте: судьба ему отомстила, но автор — не мстит, и сквозь то, что рассказывает нам автор, просвечивает не только окончательная подлость несчастного, но и первоначальная беда его. Значит, и за ним гнались, и его подняли с родного места, так что всю последующую жизнь, вместо того, чтобы петь про дивчину в родной хате, хлопец мысленно бился под кроватью, ожидая своих мучителей.

Разница: схватив свой "кусок и угол", он так и не стал счастливым.

А тот, кого он упек, — был счастлив. Не согнулся и в лагере. Вернулся. Вырастил дочь.

Сквозь "родительскую идиллию" Аллы Гербер кровоточит время. Страшное время. Или, как она сдержанно говорит — "трудное время".

Читатели знают Аллу Гербер по пронзительным статьям о Холокосте. Ее общественный темперамент широко известен: его хватает и на политику. Где источник этой энергии?

Необязательно углубляться в века и тысячелетия — надо войти в ограду тихого кладбища, где покоятся московская учительница, всю жизнь преподававшая немецкий язык в школе, и специалист по сопромату, делавший в войну "Катюши", — надо постоять над ними молча, сотворив то, для чего ни у них, ни у их дочки, блестящей советской журналистки-шестидесятницы, долго не было слов. А потом слова нашлись и отворили боль.